

ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА: НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



1 (37) 2026

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 1 (37) 2026

Бостон
2026

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(ФРАНЦИЯ)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(ГЕРМАНИЯ)
МАРК ВЕЙЦМАН	(ИЗРАИЛЬ)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
МИХАИЛ МИНАЕВ	(США)
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН	(УКРАИНА)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(АНГЛИЯ)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(ДАНИЯ)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

Published by **M•GRAPHICS** | Boston, MA

ISSN 2575-9558

Copyright © 2026 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For obtaining permission to reproduce selections from this publication
email or call to the publisher: mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778
or editor-in-chief: guydavid094@gmail.com / 646-270-9615.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ-2026

Дорогие читатели!

В текущем, 2026 году, наш журнал, как и раньше, выходит 4 раза в год примерно в середине первого месяца каждого квартала. Печатный номер журнала будет рассылаться подписчикам непосредственно из типографии. Напомним, что с 2024 года журнал выпускается также и в электронном виде (формат PDF), рассылаемый подписчикам этой версии по электронной почте. Мы должны отметить, что подписка на печатную версию для читателей, находящихся за пределами США, будет решаться в каждом индивидуальном случае (из-за резкого увеличения стоимости доставки за рубеж, порой превышающую стоимость печати журнала в 2-3 раза) — свяжитесь с издательством по емейл для обсуждения.

Также напоминаем вам, что с 2025 года полную версию выпусков могут читать только подписчики журнала. Все остальные смогут ознакомиться на сайте только с содержанием журнала и короткими отрывками из некоторых его материалов. Для чтения полной версии журнала нужно будет либо подписаться, либо приобретать отдельные выпуски года — по ссылкам, расположенным на нашем веб-сайте в разделе **АРХИВ НОМЕРОВ**.

Для оформления подписки на 2026 год:

— **выпишите чек на имя компании-издателя: M-Graphics:**

- на сумму **80** (восемьдесят) долларов (печатная версия журнала с доставкой по США)
- на сумму **40** (сорок) долларов — для получения всех выпусков журнала в электронном виде (PDF) в любой стране мира.

Обязательно укажите полное имя, точный почтовый адрес и адрес электронной почты (для получения электронной версии).

— **вложите чек в конверт и отправьте его по адресу:**

Attn: Mr. David Guy
2896 West 8th Street, Apt. 15 P
Brooklyn, NY 11224

Телефон для справок: **(646) 270-9615**

Для тех из вас, кто предпочитает электронные методы оплаты, подписку также можно оформить на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Алексей НИКИТИН

СТАРОЕ ФОТО (глава из нового романа) 6

Алик ТОЛЧИНСКИЙ

ОДИННАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕМЁНА ШУЛЬЦА 53

Михаил ГОНЧАРОВ

НОВЕЛЛЫ. 98

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

АМЕРИКАНСКИЕ ИСТОРИИ. 109

ПОЭЗИЯ

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ 43

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР 88

Михаил ХАЗИН 116

Гари ЛАЙТ 170

Валерий СКОБЛО 180

Ирина ЕВСА 233

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нина АБРАМОВИЧ

ДОМ ДЛЯ МАГДАЛЕНЫ (продолжение) 125

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Лев БОЛДОВ

ИЗ ВРЕМЕНИ СЕМИДЕСЯТЫХ 190

НАШ АРХИВ

Николай ФОРМОЗОВ

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ КЕНГИРСКОГО ВОССТАНИЯ . . . 206

ЮБИЛЕИ

Ксения ГАМАРНИК

ЗАГАДОЧНАЯ ХАРПЕР ЛИ 244

А ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Виктор ДАЛЬСКИЙ

С ГАСТРОЛЁРАМИ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ (ОКОНЧАНИЕ) . . . 261

Издательство и Редакционный Совет выражают искреннюю признательность читателям за финансовую поддержку нашего журнала. Вот имена благотворителей:

**ВЕНИАМИН ШОР, ИРИНА КАЦ,
БОРИС НАЙДИЧ, ВЛАДИМИР КОВНЕР,
ОЛЬГА ЧИЛИНА, АЛЕКСАНДР ПЕЩАНСКИЙ,
ГАЛИНА ГАБАЙ-ФИКЕН, БОРИС ПУКИН,
ЮРИЙ СОЛОДКИН, ЯН ЛУПЬЯН**

Всем им огромное спасибо!

Алексей НИКИТИН

СТАРОЕ ФОТО

ГЛАВА ИЗ НОВОГО РОМАНА

Это глава из нового романа о войне, которую Россия ведёт против Украины. Роман почти окончен, но у него пока нет названия. Основное действие разворачивается в Киеве в период с января 2021 по июнь 2022 года. Эта глава отличается от остальных тем, что события происходят в Берлине, но в то же время она в полной мере представляет роман в целом.

1

В Берлин вылетели ленивым полуденным рейсом. Сухой любил утренние, с быстрыми сборами, чашкой кофе вместо завтрака, с лёгким лётком такси по ещё не проснувшемуся городу. Ранние рейсы — для рабочих лошадаков, дневные — для людей, которым спешить некуда. Они проходят паспортный контроль задолго до посадки, скучают в кафе, без цели бродят по лавкам, на двухчасовой перелёт готовы потратить день и не пожалеть об этом.

Сухой летел в Берлин по делу, но дело его было смутно, никакими сроками не ограничивалось. Уманец тоже не спешил. Они уже договорились, что на первые две-три недели Сухой займёт гостевую комнату в квартире художника в Потсдаме, а дальше будет видно. Если понадобится — поживёт и дольше.

Уманец приехал в аэропорт хмурым и разговорился только в самолёте, когда уже набрали высоту.

— Вспомнилось, как летал из Киева в феврале четырнадцатого, — объяснил он, в ответ на осторожный взгляд Сухого. — Плотно так накрыло. И неожиданно. Я тогда уезжал с нерациональным ощущением, что больше не вернусь. В каком-то смысле, так и вышло — Киев стал другим после массового убийства на Майдане. Расстреливали на публику, под камеры. Тогда на Институтской погиб мой близкий друг. Я увидел его смерть по телевизору, в баре берлинского отеля. В прямом эфире... Вот так.

— Я был в Киеве той зимой, — кивнул Сухой. — Работал в декабре и в январе. В конце февраля никто не знал, чего ждать и к чему готовиться. Итальянская газета, одна из ведущих, предложила мне месяц поснимать в Киеве с их корреспондентом. Они были уверены, что в городе начнутся уличные бои. Через день предложение отменили: нет крови — нет работы.

— Зато кровь полилась на Донбассе...

— И их внимание мгновенно переместилось туда. Но со мной не связывались, нашли кого-то местного. А два года спустя на Донбасс поехал Сева...

— Кстати о Донбассе. Ты вспомнил, кто такой Каплиенис?

— О, да, — засмеялся Сухой. — Я видел его в Москве как-то раз. Успел немного почитать о нём в интернете, наверняка нашёл не всё.

— Мой менеджер Тадек отлично его знает, думаю, сможет устроить встречу. Тадек вообще всех знает.

— Хорошо, хорошо... Ты допускаешь, что Каплиенис поможет освободить Севу?

— Я не говорил, что поможет. Только, что он полезнее в этом деле немецких журналистов. Ну а с другой стороны, я тебя не отговаривал лететь в Берлин, значит, надеялся — и надеюсь, — что ему и нам хоть что-то удастся сделать.

— Я прочитал, что Каплиенис — президент какой-то безвестной культурной ассоциации...

— Да... наверное. Это неважно. Он в Германии с начала 90-х. Молодой Растиньяк из Харькова. Без денег, что обычно во все времена, но и без образования. Женился на даме, лет на пятнадцать его старше. Она к тому времени в Берлине уже освоилась, была как-то связана с Россо-трудничеством.

— О-оо... попал парень.

— Да-а... Начал обрастать знакомыми из того же круга. Это сейчас российский чиновник в отпуске за границей нахален и на мир смотрит с презрительным прищуром, а двадцать лет назад он был ещё пуглив и робок, и благодарен всякому, кто помогал выпутаться случайно зацепившемуся за подводные коряги местных порядков...

— Не похож он на тихого альфонса при влиятельной жене, — покачал головой Сухой. — Крученный он, перекрученный.

— С первой женой, допустим, он давно простился, но не в ней дело, — не стал спорить Уманец. — Я ведь сказал, что плохо его знаю. Поговоришь с ним, составишь собственное мнение. Одним словом, видно будет, — закончил Уманец тем же, с чего начал. Определённости в его словах не было, но он её и не обещал.

Паспортный контроль в Тегеле прошли быстро. Сухой вдруг заметил, как изменилось выражение лица его спутника. Только что, в самолёте, в соседнем кресле сидел украинский художник Коля Уманец, и вдруг его не стало. Из здания аэропорта вышел ничем не примечательный житель федеральной земли Бранденбург. Он огляделся, увидел нужный автобус и слегка кивнул Сухому. Едва заметная, ни к чему не обязывающая улыбка делала его взгляд увереннее и спокойнее. Видимо, так он чувствовал себя в Германии — увереннее и спокойнее, чем в Украине. А держался тише и сдержаннее. Интересно, станет ли этот Уманец пить вино с Пеликаном вечером, в Берлине, на детской площадке? Сухой задумался, всё-таки Уманец художник, он не может оставаться собой, не снимая маски. Или может?

Автобус привёз их в Шарлоттенбург. Местную географию Сухой помнил приблизительно, но тут сомнений не было, в Потсдам они поедут на электричке.

— Зибен Эс, — объявил Уманец, когда поднялись к железнодорожным путям.

Спустя час он открыл дверь большой квартиры в невыразительном, четырёхэтажном, недавно построенном доме серого цвета. Дом стоял среди деревьев, на берегу не то реки, не то канала. Разобраться в этом Сухому ещё предстояло, но место ему нравилось.

2

Первым их гостем стал невысокий, лысеющий, недавно располневший и, видимо, не привыкший к своей полноте человек, подвижный и беспокойный. Тадек Глогер, менеджер и давний приятель Уманца. Он пробормотал имя Сухого, запомнил его и тут же взялся листать интернет. Глядя, как Тадек сосредоточился на этом занятии, Уманец улыбнулся своей немецкой улыбкой. Для разговора он выбрал небольшой ресторан с открытой террасой. В окрестных пейзажах преобладали серый — цвет воды, отражавшей небо, затянутое низкими облаками — и зелёный разных оттенков, от совсем светлого до насыщенного тёмного. Разглядывая размытые лёгким туманом дали, Сухой ещё раз подумал, что потсдамская весна уверенно опережает киевскую.

— Прекрасно, — сообщил Глогер минуту спустя. — Прекрасно! Вы интересны мне как фотограф. Я готов с вами работать.

— Тадек, Ярослав здесь не как фотограф. Он совсем по другому делу, и в этом деле мы рассчитываем на твою помощь.

— Конечно, Николай. Моя помощь — это мои деньги, даже если я помогаю тебе как другу, то есть, бесплатно.

Тут Сухой решил, что Тадек ему, пожалуй, нравится. Человек, прямо заявляющий о своих интересах, бережёт время и нервы собеседника. Это условие хоть и недостаточное, но необходимое, если вспомнить язык школьной математики.

— А... Капленис... — несколько раз мелко кивнул Тадек, когда Уманец подробно объяснил, зачем Сухой приехал в Германию. — Не бойтесь?

— Чего? — в один голос спросили удивлённые Сухой и Уманец.

— Что он вас отравит. Он же русский шпион.

— Тадек... Твоё чувство юмора с годами приобретает странную окраску, — поёжился Уманец.

— Если бы я сейчас шутил, то ответил бы, что ты своё с годами теряешь.

— Шпион может быть полезнее, чем никто, — предположил Сухой.

— Это деловой подход. Но рискованный, — не то одобрил, не то предостерёг Тадек.

— Чем я рискую? Для шпионов я бесполезен...

— Хорошо, — Тадек резко взмахнул рукой, словно отсекая оконченный разговор. — Я всё понял и позвоню с ответом завтра или раньше. А теперь давайте погуляем. Раз уж мы тут, на берегу чудесного озера.

Не спеша они отправились из одной зеленовато-серой акварели в другую, подкармливая по пути уток-мандаринок, обычных городских крикв и непонятно как оказавшихся в этих краях рыжих огарей. Сухой разглядывал пейзажи, они напоминали ему Полесье, обычные озёрные, болотистые места. А Тадек наблюдал за ним и за Уманцем, но больше всё-таки за Уманцем.

— Как по-разному вы кормите птиц, друзья, — заметил он немного погодя. — Николай, ты делаешь это как немец. Ты теперь многое делаешь как немец, давно хотел тебе это сказать. Всё-таки мы знакомы больше двадцати лет, может быть даже двадцать пять. Страшно такое говорить, но это четверть века. Ты сильно изменился за четверть века.

— Ты тоже изменился, Тадек.

— Да, и я тоже. Но вот что интересно: мы менялись в разных направлениях. Когда-то ты не признавал правил и не видел границ. Ты был огнём и льдом одновременно. Твоё «нет» означало никогда, твоё «да» не имело цены. Каждая твоя работа была как... как... электростанция. Атомная электростанция! Они и сейчас остаются такими. А твои новые работы — другие, они как песни, лирические и задумчивые. Они расслабляют, не заряжают энергией, но и не отнимают, позволяют её сохранить. Нулевой баланс.

— И за это скажите мне спасибо, — пробурчал Уманец. Он слушал Тадека внимательно, не перебивал. Сухой тоже следил за их разговором.

— Четверть века назад — будем мерить веками, раз уж говорим об искусстве — ты слушал только себя, а сейчас — зрителя. Ты молчишь, хотя мог бы возразить, что не слушаешь никого кроме внутреннего голоса, и был бы прав, но прав и я, потому что, слушая себя, ты слышишь своё окружение, этот Потсдам, эту Германию, публику на открытии выставок. Тебе стало важно их мнение.

— Да, за четверть века многое произошло, я изменился, ты тоже... Ты ведь всегда хотел, чтобы я слушал публику.

— Именно! — таким неожиданно высоким голосом вскрикнул Тадек, что утки, подбиравшие разбросанный им корм, сорвались и шумной стаей отлетели на середину озера. — Об этом я и говорю. Ты стал почти таким, каким был я — внимательным к окружающим, осторожным. Ты стал спокойным. Твоя техника безупречна, ты чувствуешь зрителя, знаешь, чем его удивить, ты большой мастер, подчинившийся воле среды. Я бы сказал, воле буржуазии, но не хочу впутывать в наш разговор Маркса, потому что он всё только запутает. Но мы знаем, наша среда — буржуазна, поэтому я говорю о воле среды.

— Хорошо, хорошо, — Уманец улыбнулся не немецкой, а украинской улыбкой, — пока ты не говоришь, что мои картины дерьмо, я готов слушать твои откровения и даже не спорить.

— Ты никогда со мной не спорил. Соглашался, потом поступал как тебе хотелось, но не спорил. Спорил я. Трепетал перед варварством твоих работ, заряжался их энергией и спорил с тобой, приспособливал мир к тебе, потому что тебя приспособить к нему было невозможно. Со временем ты стал больше мной, а я больше тобой. — Тадек выпрямился, pokrutil головой, осматриваясь и неожиданно закончил: — Может быть, даже больше тобой, чем ты сам.

— Это всё к чему было сказано? — никак не реагируя на вызывающий тон приятеля, совершенно спокойно спросил Уманец.

— Предлагают участие в интересном проекте. Отказаться никогда не поздно, поэтому я согласился и уже подал заявку.

— Так я и знал, — весело вздохнул Уманец. — Ты не меняешься, Тадек. Опять...

— Не опять! Совсем не опять. Таких проектов я тебе ещё не предлагал.

— Говори по делу. Я нервничаю, пока ты несёшь пургу.

— Ха-ха, — медленно произнёс менеджер. — Не вижу ни единого признака беспокойства на твоём лице. Скажи, ты знаешь разницу между граффити и муралом?

— Приблизительно.

— Мурал может быть большим искусством, верно ведь? Во всех смыслах. Мурал в центре Берлина — лучшая реклама для художника.

— Ойейей, — засмеялся Уманец. — Верхолазом я ещё не был.

— А потом мы сделаем выставку фотографий: как всё происходило. С самого начала. С этой минуты. Ты ведь фотографировал нас только что, верно? — Тадек обернулся к Сухому, но ответа ждать не стал. — Значит, работа над проектом уже началась.

— Тадек, прошу тебя, не гони коней. Не хочу я взбираться на стену старого дома, болтаться там на ветру, на высоте, махать кистью. Я не человек-паук и не маляр, и у меня спина...

— Пошли, выпьем горячего. Твоя спина нам нужна здоровой и крепкой.

Тадек схватил и крепко стиснул локоть Сухого, приобнял Уманца и повлёк приятелей в кафе.

Сухой уже понимал, как происходит сотрудничество Уманца с Глогером и догадывался, что при всей необычности идея его менеджера художнику не противна.

3

Небольшим бульдозером на атомной тяге приезжал к ним по утрам Тадек, чтобы двигать новый проект от слов и идей к подписанным заявкам и дальше. Сухому казалось, что напор менеджера можно бы уменьшить, но в дела Уманца не вмешивался, пытался заниматься своими, а они, как назло, стояли каменно.

Шпион и решала Вадим Капленис подхватил популярный вирус, лечился дома и сетовал на передовую медицину — прививку он сделал, но биохимия не сохранила ему здоровье. Тадек предполагал, что Капленис поднимется на ноги дней через десять, а пока надо ждать.

В журнале Комта звонку Сухого обрадовались, с привычной сдержанностью выразили сочувствие и надежду, что недоразумение разрешится, и все вновь увидят его брата Всеволода свободным. Фразу эту Сухой слышал не впервые и на этот раз в ответ предложил встретиться в офисе редакции. Его собеседник замолчал, однако быстро взял себя в руки и объяснил, что лично назначить встречу не может — всё зависит от расписания их юриста. Так Сухой понял, что без юриста с ним говорить не станут. День встречи согласовали позже, поэтому свободного времени в первую немецкую неделю у Сухого оказалось куда больше, чем он рассчитывал.

В Потсдаме тем временем зарядили весенние дожди. По утрам Сухой выходил на прогулку, от парка Сан-Суси их жильё отделяло полтора квартала. Возвращался промокшим, и это забавляло Уманца.

— Не хочу торопиться с выводами, — хозяин квартиры появлялся на кухне, когда гость, уже переодевшись, садился пить чай, — но, как сухой ты иногда бываешь не очень убедителен.

— В такие минуты можешь называть меня мокрым. Сухим я от этого быть не перестану.

— Мокрый Сухой. Неплохое название для картины, а? — ухмылялся Уманец.

— Скорее, для вина. Мокрое сухое.

Несколько дней спустя художник показал новую работу. В ней была зелёная энергия весны, голубые дожди, нетерпение, надежда и тревога. Не увидел Сухой тоски и усталости, за это он был благодарен Уманцу. За пределами картины усталость и тоска временами на него накатывали.

Впервые за полтора, может, даже за два десятка лет, Сухой обнаружил, что живёт в квартире с телевизором. В Киеве телевизора у него не было, в Москве когда-то был, но то, что из него лилось, он мог смотреть только настроив одновременно несколько внутренних фильтров. Довольно скоро Сухой привык, что информацию удобнее находить в интернете, а телевизор с прочим хламом выкинул во время большой весенней уборки и об этом не пожалел. Но теперь, раз уж не его волей они оказались в одной квартире, и потсдамская погода обеспечила достаточно свободного времени, Сухой решил составить представление о том, что такое телевидение в Европе. Он отыскал пульт... и вместо немецких новостей немедленно получил российские. Это было неожиданно, но эксперимент есть эксперимент. Сухой решил не отступать.

Он выдержал два часа студийного трёпа на политические темы, больше не смог, выскочил на улицу, чтобы отдышаться, но вернувшись, заставил себя включить телевизор снова.

— Ну, что там? — уже вечером, проводив Тадека, спросил Сухого Уманец. — Наша планета ещё на орбите?

— Ты знаешь, что Россия в любой момент может начать войну?

— В некотором роде, она её уже ведёт...

— Я говорю про большую, полномасштабную. С ковровыми бомбёжками городов, танковыми ударами в духе Второй мировой. Они её собирались начать вот буквально на этой неделе, но, видимо, решили, что не готовы и переносят. Не отменяют, но переносят.

— Смотрю на тебя сейчас и вижу себя в апреле четырнадцатого. Семь лет прошло... Жаль, Тадек ушёл, он меня в те дни часто видел, мог бы

подтвердить. Я тогда тоже был уверен, что вот-вот, со дня на день начнётся, всё к тому шло. А оно не началось. Я долго не мог понять почему, тогда ведь украинская армия лежала в руинах. Если бы танковые дивизии, как ты говоришь, через Харьков пошли на Киев, остановить их было бы некому. Но нет, не пошли. Почему не пошли, наверняка не знаю, не спрашивай, могу только предположить, что дело в происхождении нынешних российских властей. Они же родословную ведут от спецслужб, для них гибридная война — раздолье. Пропаганда, агенты влияния, пять версий каждого события и все пять ложные, операции под чужим флагом... Красота! А начинать войну — это делить власть с военными, с «сапогами». Зачем им это? Сегодня отдашь власть вооружённым людям на танках, а завтра попробуй её забрать. А вдруг не получится?.. Ну и потом, полномасштабная война, это всё-таки агрессия, а времена на дворе стоят просвещённые, против агрессора объединяются, бьют по экономике. Она в России и без того на все три ноги хромает, зачем им ещё и это, скажи? У меня пока ответа нет и потому считаю, что армией своей Россия на нас не нападёт. А мелкими гадостями будет заваливать, как делает это непрерывно последние двадцать лет.

Спорить с Уманцем Сухой не хотел, да и не было у него возражений, кроме того, разве что рассуждения художника выглядели чересчур академическими, а Сухой четверть века прожил в России и твёрдо знал, что логика Уманца к этой стране применима плохо. Плевать им на экономику, хоть на чужую, хоть на свою, плевать на то, что Россию будут считать агрессором. Так им даже круче — пусть все знают лихость русскую: любого нагнём, а если нагнуть не сможем, так у нас ракеты есть, взорвём к чертям всю эту Землю, нам не жалко.

И всё же слова Уманца не то чтобы успокоили Сухого, но немного остудили, а российские телеканалы он опять стал пролистывать не задерживаясь.

Наконец, подошёл день встречи с редактором Комма. Сухой ничего не ждал от предстоящего разговора, но, подъезжая к офису журнала, вдруг почувствовал, что волнуется. Думая о судьбе брата, он всегда нервничал, поэтому от отвлечённых размышлений старался заслониться делами, дающими чёткий и понятный результат. К какому результату мог привести предстоящий разговор? Да ни к какому не мог, что уж там...

Офис журнала помещался в одной из стеклянных высоток на Потсдамер плац. Сухой приехал сюда из Потсдама, совпадение показалось ему забавным, с рассказа о нём он и начал. Редактор, бородатый парень в джинсах и мятом коричневом пиджаке, в ответ улыбнулся широко, юристка — женщина средних лет в сером костюме поддержала коллегу

нейтральной серой улыбкой. Переговоры повела она. По договору, когда-то подписанному Севой, все риски, связанные с нахождением на территориях, не подконтрольных законным властям любой страны, он брал на себя. Журнал не отвечает ни за состояние его здоровья, ни за свободу, ни за жизнь. Юристка и редактор посмотрели на Сухого, поняли ли он сказанное? Сухой затосковал. Не для того он пришёл сюда, чтобы обвинять в чём-то журнал Комта, не ждал он ни извинений, ни выплаты компенсаций, понятно же, что немецкие журналисты не виноваты. Не они затолкали Севу в донецкую тюрьму и держат четвёртый год. Он искал другой поддержки и не для себя — для брата. Сухого поняли, но поняли как-то криво. А потом, похоже, решили, что пришло время прятать кнут и доставать пряник.

— Мы посмотрели ваши работы, Ярослав, — подключился к разговору редактор. — Вы ведь заметная фигура в фотожурналистике: вас знают, у вас премии... Мы могли бы обсудить...

Не туда пошёл разговор, совсем не туда. Сухой не понимал, как увести его в правильную сторону и между делом рассказал, что снимает сейчас работу Уманца и Глогера над новым проектом.

— Отлично! — редактор заулыбался, как в начале разговора. — Глогер, это крупная фигура, его проект заметят. Настенная живопись, как явление, имеет социальный характер, но каждый новый мурал — ещё и художественное событие. Мы напишем о нём, ваши фотографии — то, что нам нужно.

— Наверное, нужно обсудить с Глогером...

— Обязательно обсудим, — забыв о компьютере, потянулся к блокноту редактор. — И вот тут, знаете, я вижу возможность поместить абзац о Всеволоде. Вы согласны? Мы говорим о вас, но и о вашем брате. Так мы получим объёмную картину, 3D, понимаете? Да, немецкий проект, украинский художник, украинский фотограф и его брат, писатель в тюрьме, в украинском Донецке, оккупированном русскими.

После встречи, чтобы прийти в себя и успокоить разбушевавшийся адреналин, Сухой пошёл к Бранденбургским воротам. Станным казался ему этот разговор, и результат его был странным. Вроде бы он добился своего, напомнил журналу о Севе и о нём ещё раз напишут, Тадек тоже будет доволен, даже счастлив, но... Сухого не оставляло ощущение, что он позволил себя купить. Не такого результата он ждал. А какого?..

Уже поворачивая на Унтер-ден-Линден, он в который уже раз подумал о Маше. Жена знала, что Сухой в Германии, он написал ей сразу же, как только приехал в Потсдам. Он скучал, хотел её видеть, Маша понимала это и в начале переписки Сухому показалось, что настроена вырваться

к нему. Какая-то готовность сквозила между строк её первых сообщений в мессенджере. Но уже на следующий день она ответила, что приехать не сможет, потому что заменить её сейчас некем, а работы очень много.

4

Русский шпион Капленис из Харькова оказался поджарым человеком среднего роста, одетым не то чтобы совсем уж крикливо, но как-то шумно, и держал себя он так же: говорил громко, играл на публику, хотя зрителей было всего двое — Сухой и Тадек, переигрывал, не к месту вспоминал знакомых российских министров, немецких депутатов. Тадек слушал и уважительно кивал головой, Сухой тоже кивал, терпеливо ожидая, когда схлынет вал хвастовства и можно будет говорить о деле. Многие считают, что так и нужно начинать разговор, так их научили, так они привыкли, и не зависит это ни от страны, ни от возраста, ни от рода занятий. Одни укладываются в пять минут, другим на презентацию тщеславия и жизни не хватает. Кто-то держит перед собой веером фотокарточки с американскими президентами, кто-то с нобелевскими лауреатами. Никогда не знаешь, каким окажется незнакомый собеседник, тут как повезёт.

Капленис вдруг пожаловался, что тяжело перенёс встречу с вирусом, из болезни едва выкарабкался. На минуту в его словах проскользнуло что-то человеческое, но после этого он вынул телефон и начал читать письма, полные слов поддержки и сочувствия от людей, которых считал знаменитостями. Этот человек пытался подчинить собственному тщеславию всё и вирус тоже.

Встречу, как и договаривались, организовал Тадек. Уманец идти с ними не захотел, просил пощадить, не мучить Капленисом. Сухой этому только порадовался — проще всего было бы поговорить наедине, но посадить менеджера не мог никто, поэтому в ресторан на верхнем этаже недавно построенного отеля в спокойном Шёнберге они с Тадеком явились вдвоём.

— Опоздает на семь минут. У него свой этикет, — деловито предупредил Тадек и не ошибся. Капленис опоздал несильно, зато болтал о себе уже вторую четверть часа. Сухой слушал его хвастовство, глядел, как тот беспричинно задирает официанта и пытался понять, что прячет Капленис за своей глупой болтовнёй. Он не поверил в связь этого гаера с разведкой. Конечно, всё возможно в этом ополоумевшем мире, но право не верить в абсурдное остаётся нашим неотъемлемым правом. До тех пор, пока абсурдное не докажет, что оно сильнее сложившихся представлений о порядке вещей, да и нас самих.

— Выйду, покурю, — отбросил салфетку Капленис, поднялся и надел пиджак. — Нигде уже курить не разрешают. Ни на этаже, ни в туалете — нигде! — И добавил, не понижая голоса: — пердеть в зале можешь сколько хочешь, а курить — хрен.

— Я тоже выйду, — сказал Сухой удивлённому Тадеку. До этой минуты тот твёрдо знал, что Сухой не курит.

Они пересекли шумный зал, и массивный лифт спустил их в лобби отеля. Сумрак заполнял тихую берлинскую улицу, но мягкое апрельское тепло ещё не исчезло, уступив вечерней свежести.

— Так что там с братухой твоим? — Капленис нашёл скамейку, устроился на ней, затаился, прикрыл глаза и как будто, наконец, расслабился, но Сухой чувствовал, что тот за ним приглядывает. — Кто его держит? И где?

Сухой коротко рассказал всё, что знал и что помнил, рассказал, как готовил поездку в Донецк, как всё сорвалось, назвал имена, которые ещё держались в памяти. Добавил, что и за ним в Москве какая-то шпана уже ходила. Капленис курил, слушал и не перебил ни разу. Табак у него был необычный, в вечернем воздухе плыл сильный запах, пряный и сладковатый.

— Тебе контрразведка сказала «нет», и у президента вашего сказали «нет», а ты хочешь его вытащить?

— Мама очень переживает, — сказал Сухой и сам удивился своим словам, тому, что ответил именно так.

— Мамам с нами тяжело, — согласился Капленис. — Я уже не вернусь к этому полюку в ресторан. Не люблю я его. Идём, погуляем, поговорим по дороге.

Они отправились полутёмными улицами, как показалось Сухому, в сторону Кудамм, но уверен он не был. Не знал он, куда ведёт его Капленис и особо не думал об этом. Куда, в самом деле, можно выйти, гуляя по центру Берлина? Так или иначе, к метро.

— Мне сказали, ты из Харькова? — спросил Сухой, чтобы разговор не ушёл в сторону.

— Я давно из Харькова. Приехал в Берлин в середине 90-х, женился, развёлся, опять женился. Считаю, полжизни тут. Украина мне своей никогда не была, а сейчас стала совсем чужой. Да и Россия чужая. Это жестокие страны с безжалостными порядками. Все прекрасные страны прекрасны одинаково, а жестокие жестоки по-разному, сказал Лев Михалыч Гоголь. Здесь, в Германии непросто, но, поверь... не сравнить. А с другой стороны... Ты из России уехал в Украину? А зачем?

Сухой не говорил Капленису что ещё три месяца назад жил в Москве, и Тадек не должен был говорить. Откуда он узнал?

— У вас там война уже сколько лет идёт, и Россия в ней в конце-концов победит, — продолжал Каплиенис, не дождавшись ответа. — Россия сильнее, это очевидно, это все знают. Зачем ты выбрал слабую сторону? Надо выбирать сильного и оставаться с ним, пока он силен. Иначе долго не протянешь.

— А Германия сильная? — принял игру Сухой.

— Я не говорил, что она сильная, но когда-то она была удобной, как пара уже разношенных мягких туфель. Тут хорошо жилось, пока Европа не сломалась. Россия сейчас сильнее Германии, там у мужиков морды всегда в крови, а тут давно забыли вкус собственной крови, выросло поколение, которое никто не бил. Всё это их НАТО — мятая бумажка. Если ты сам не готов драться, НАТО не поможет.

— Украина дерётся...

— Я не топлю за Россию, — поморщился Каплиенис, и Сухой ему повеял, но и не поверил тоже. — Мне пацанов жалко. Поэтому сделаю, что смогу, для начала пробью по братве, почему тебе не отдали брата, если, как говоришь, всё было договорено. И какая сейчас ситуация, тоже надо понять — всё-таки время с тех пор прошло. Тогда станет ясно, с кем работать и что делать. Ты мне пришли на вайбер имена, которые называл. Если ещё какие-то вспомнишь, тоже присылай, так будет легче работать. И не названивай мне, я когда что-то узнаю, сам сообщу.

Они обменялись номерами телефонов и простились у станции метро. Каплиенис спустился вниз, на платформу, а Сухой остался один на вечерней улице, чтобы ответить Тадеку. Тот звонил ему уже шесть раз.

Это была интересная встреча — Сухой понял, что скрывал Каплиенис за гаерством, так раздражавшим его собеседников. Завербовали его российские спецслужбы или нет, Сухой знать, конечно, не мог, но по тому, как говорил с ним, как держался Каплиенис, было заметно, что у того есть уголовное прошлое. Он сидел когда-то, может быть, недолго, но наверняка сидел, и это произошло в Украине. Мальчик из приличной семьи, в юности попавший за решётку, оставил родителей, уехал в другую страну, а свою не простил. Такую романтическую картину рисовал Сухой по дороге в Потсдам. При этом он не ждал, что Каплиенис сможет чем-то ему помочь. Как он это сделает, находясь в Берлине? Вон, Сухой в Донецк ездил, и то ничего не смог, так что не было у него иллюзий. Зато появился предмет для размышлений.

Многие не любят свою страну. У кого-то истоки нелюбви укрыты в детстве, спрятаны за обидами на несправедливых учителей и жестоких одноклассников, а кого-то вдруг взбесят дурацкие законы и чиновники, и он поймёт, что нет у него сил терпеть скудоумие государства. Нелюбовь

к стране — обычное дело, частный случай мизантропии. Обычно не любят именно свою родину, потому что знают её слишком хорошо, понимают лучше других стран. Лучше всех других. Хотя, случается, и какую-нибудь чужую не терпят, объезжают десятой дорогой. Человек не обязан кого-то или что-то любить, да и не так часто мы любим, если честно.

В нелюбви к своей стране хорошего мало. Не в том дело, что так не принято, что обязанность любить родные осины и отеческие гробы как будто выдаётся нам при рождении с набором генов в пакетике, перевязанном лентой цветов национального флага. Тяжело идти против традиций, правил и порядка, против всех, знакомых и незнакомых, против поколений предков. Хотя откуда уверенность, что предки наши любили свою страну? Что мы об этом знаем? Да и какая страна была для них родной?

Намного приятнее и проще размахивать флагом и клясться в вечной преданности родине, мочить усы в литровых бокалах светлого, кричать что-то воинственное и грозное, сверкать очами. Только не всем дано это счастье, не всем.

Зацепил всё-таки Сухого Капленис, заставил думать о себе, о своих словах и подтолкнул спустя день после встречи купить билет в Киев. Чтобы Тадек не нервничал, Сухой тут же взял и обратный билет. Он ехал домой всего на три недели.

— Когда будешь возвращаться, захвати с собой Пеликана, — заказал сувенир из Киева Уманец. — Мы его тут поселим. Хорошо будет.

— Кто этот Пеликан? — встревожился Тадек. — Это друг? Старый друг? — сразу предположил он худшее.

— Он академик, — успокоил партнёра Уманец. — Почти. Без пяти минут.

— Без пяти минут и без диплома, — Тадек не верил в безвредность для его проектов академиков, если они были старыми друзьями Уманца.

Доставить Пеликана из Киева Сухой не обещал, намекнул только, что в случае неудачи попыбует ограбить ZOO, там живут пеликаны, он видел. С тем его и отпустили.

Мысли о нелюбви к родине проложили ещё одно русло для его размышлений, ведь много лет у Сухого перед глазами был другой пример, противоположный — Маша любила Россию. Он думал об этом пока летел в Киев.

Кварталы, в которых выросла жена, на взгляд Сухого были отвратительны, и Маша тоже так считала, и говорила об этом не раз. Правила жизни, установленные на её малой родине, не были её правилами, Маша не принимала их, но саму родину принимала в её полноте. Сухой понимал Машу и знал, в чём причина — в родном языке. Для Маши язык был

чистой производной грязного мира насилия, окружавшего её в детстве и не до конца оставившего во взрослые годы. Родной язык значил всё и был тождественен родине и для Маши, и для Качура, и для его брата Севы, хотя, на первый взгляд, это казалось удивительным. Родные языки у Качура и Севы Сухого были разные, а родина одна, и её хватало на них двоих и ещё на сорок с лишним миллионов. Зато для Каплениса родной язык родиной не стал. Капленис живёт в Германии, говорит на всех известных ему языках и родной в лучшем случае равен другим в том ряду. Если спросить, на каком языке он теперь думает, возможно ответит, что на немецком. Капленис может отказаться от любого языка, он может отказаться и от любой страны, и ничто его не остановит.

Сухому осталось признать, что Капленис оказался свободным человеком, заплатившим за свободу всем, что связывало его с родиной, в числе прочего и родным языком. Возможно, для него ни язык, ни родина не имели ценности. А жена Сухого Маша, брат Всеволод и друг его Качур, напротив, этой свободы осознанно себя лишили. Они связали себе руки родной культурой и больше свободы полюбили привязанность. Никого из них Сухой не думал судить — кто он, в самом деле, но ему было важно понять мотивы каждого.

5

Пеликана Сухой обнаружил в кабинете Урсулы. Хозяйки Журнала Мёд в редакции не было, коварно воспользовавшись этим, член-корреспондент читал лекцию о языке скифов трём симпатичным и неприлично юным редакторкам журнала.

— Вот и ты, Брют! — приветствовал он Сухого. — А я думал, ты раньше сбежишь из берлинских застенков.

— В Германии я отзывался на имя Драй. Для друзей Экстра Драй.

— О том и речь. В Киеве тебя ценят выше. Как нигде ценят.

Девушки, услышав приветственный диалог, решили возмутиться.

— Смеяться над фамилией человека — форма буллинга, — уличила Пеликана одна из них.

— А участие в этом жертвы буллинга — проявление геллофобии, — не глядя на Сухого, сообщила другая.

— Гелотофобии, — уточнила первая. — Расстройства психики.

Третья молчала с самым строгим и осуждающим видом.

— Ты понял, что сейчас произошло? — спросил Сухого Пеликан, разглядывая сотрудниц журнала, вдруг оказавшихся внештатными работницами прокуратуры.

— Сёстры урсулилки поставили мне мнимый диагноз.

— Это стигматизация.

Редакторки переглянулись.

— Старички сопротивляются, — констатировала молчавшая до этого и поднялась из кресла.

— Плюс эйджизм, — вздохнул Пеликан.

Сухой молча смотрел, как лёгкая стайка выпорхнула из кабинета.

— Поле битвы остаётся за победителем, — сказал он, когда дверь закрылась. — Что это они вдруг.

— Зубки точат, тренируются, но это не всерьёз. Хорошие девушки, студентки — одна социологиня и две психологини. Мы битый час пикировались, пока не дошли до скифов.

— Да, перейти на язык скифов было мудро, — не без иронии согласился Сухой. — Ничего о нём толком не известно, одни щедро называют двести слов, другие всего несколько топонимов, а скифской письменности не осталось, может быть и не было. Жаль, что студентки убежали, я бы сам послушал.

— Нет, то есть nein, не проси, мой немецкий друг. Повторять только что рассказанное я не в силах. Давай о другом.

— У меня конкретный вопрос, — легко согласился Сухой. — Скифы всё ещё наши предки? Или им уже отказано? Что говорит современная наука?

— Эту гипотезу принято считать устаревшей, — Пеликан не понимал, куда клонит Сухой и постарался ответить осторожно. — В широком смысле, конечно предки, но... У моих Пеликанов — польские корни. Когда-то я поспорил об этом со старым Багилой, а спорить не стоило, он был прав — польские. У тебя и Севы есть скандинавские. Но и скифские в далёком прошлом, возможно, есть.

— Допустим, есть, — довольно прищурился Сухой. — За спинами наших недавних предков, в глубине веков, кочевали скифы. У них была родина? Вообще, у кочевника может быть родина или только трава под копытами его табуна?

— Ты спрашиваешь о людях, живших в середине первого тысячелетия до нашей эры и не оставивших письменности. Ты используешь слово со славянским корнем, потому что не знаешь, каким словом пользовались они, нам не известно, было ли у них такое понятие и слово, его обозначающее. Поэтому, предлагаю не впутывать скифов, а считать, что родина у тебя здесь и сейчас, если ты этого хочешь. Если же не хочешь, то её у тебя нет.

— А как же предки? Земля предков, это святое? Как быть со славянским корнем род, о котором ты только что вспомнил?

— Если бы мы выполняли заветы предков, то до сих пор носили бы шкуры, жили в пещерах и молились солнцу. Предлагаю не спекулировать не известными нам мыслями пращуров так же, как и взглядами скифов.

— Вон как вас отбиваться обучили, — хмыкнул Сухой. — Откуда к вам ни подойди, всюду расставлены заслоны.

— Мы можем внимательно посмотреть на хорошо изученный период: предки и родина украинцев в XX веке. Культурный аспект проблемы. Такой доклад тебе интересен.

— Что, вот прямо сейчас?

— А зачем откладывать?

— Хорошо. Я вижу за тумбой стола недопитый ящик просекко. Нам позволено?

— Нам всё позволено, — кивнул Пеликан, подождал, пока Сухой откупорит бутылку и нальёт вино.

— Ты помнишь, что всего сто лет назад Украина была страной четырёх больших культур? Я с огромной симпатией отношусь к крымским татарам, болгарам, грекам, к немцам... Ах, какие у нас немцы: Нейгаузы в Елисаветграде, Рихтеры жили в Житомире, позже переехали в Одессу, Патоны... Но больших культур к началу XX века — пусть это будет 1918, год независимости, — в Украине сформировалось четыре: польская, еврейская, украинская и русская. Из них самой высокой я назвал бы польскую. За ней стояла старая, невообразимо богатая шляхта — Понятовские, Потоцкие, Браницкие. Они могли жить где угодно — в Петербурге, в Италии, но их гнёзда были здесь, в Киевской губернии. Здесь они закладывали и обустроивали парки: Браницкие — Александрию в Белой Церкви, Потоцкие — Софиевку в Умани. Искусство парков и садов — настоящее искусство монархов. И тут же рядом — музыка, первыми на память приходят два имени: Малишевский и Шимановский. Один — терпеливая рабочая лошадка, создатель и первый ректор Одесской консерватории, наследник школы Римского-Корсакова и Глазунова, сын сосланного на Кавказ офицера, участника польского восстания 1863 года. Второй — капризное дитя модернизма. Его первый учитель Густав Нейгауз в Елисаветграде. Оттуда он едет не в Петербург и не в Москву, а в Варшаву, потом в Лейпциг. Это европейская сторона нашего золотого, не путаем со злым. Рядом с музыкой, конечно, поэзия — Ярослав Ивашкевич, кузен Шимановского. Он написал — и опубликовал, что важно, первые стихи в Киеве, в журнале на польском языке. Затем архитектура и живопись... Стоит пройтись по музеям хотя бы в Варшаве и в Кракове. Какие были имена, какие мастера! Всё исчезло, всё снесла советско-польская война 1919 года, а потом добились большевики. Ничего не осталось, ни

языка, ни памяти. Советские газеты тех лет травили поляков как псы на волчьей охоте. Сейчас бы сказали, поляки в Советском Союзе стали первым репрессированным народом, но тогда ещё слов таких не знали. Они бежали куда могли, в основном, конечно, в Польшу, а те, кто оставался, называли себя русскими, реже — украинцами и отказывались от родного языка. Если родина лишает вас родного языка, то какая она родина?

Ивашкевич, уже большим литературным чиновником, несколько раз приезжал сюда в шестидесятых, разговаривал с нашими — с Бажаном, с Гончаром. Они были людьми одного с ним поколения, но и они уже ничего не помнили, для них всё заканчивалось Хмельницким, а то, что происходило после, выглядело незначительным и маловажным. За считанные годы, не когда-нибудь в незапамятные времена и не где-нибудь, а у нас на глазах исчезла целая культура, одна из четырёх украинских культур, а XX век даже не успел выйти из первой четверти. Следующей уничтожили еврейскую культуру Украины.

— Да, я знаю.

— Тебе известен результат. Всем известен результат: её тоже не стало. Гитлер с одной стороны, Сталин, с другой... Но мало кто помнит, как она была прекрасна. Какую здесь писали прозу! А какие поэты читали стихи!.. Ничего не осталось, самого языка больше нет и след его вытоптан. Это произошло не только у нас, но другие страны мне не интересны. Украина потеряла ещё одну культуру, вот что произошло! У нас что, есть лишние? Нам их некуда девать? Сосуществование двух культур — это ведь не механическое удвоение продукта, а их было четыре! Это взаимные переводы, это обмен опытом и смыслами. Представь, насколько понятнее миру стала бы украинская литература, если бы в прошедшем веке её бы переводили на еврейский и польский языки так же, как переводили, скажем, на русский. Насколько лучше мы бы сами понимали мир.

— То есть, за полвека уничтожили две культуры...

— Две. А хотели все четыре, из них должны были выкроить одну — советскую. В тридцатые украинскую культуру тоже выгрызали под корень, только корень оказался им не по зубам. Чтобы уничтожить украинскую культуру полностью и навсегда, большевикам следовало бы запретить и украинский народ, и украинский язык, и память о прошлом вытереть до самых скифов. Они старались и при других обстоятельствах вытерли бы непременно. Ладно, не будем ещё раз тревожить скифов... Было так как было: к началу семидесятых у Украины оставалось две большие культуры и двадцать лет до независимости их давили глухой и неподъёмной цензурой. Те, кто писал на русском, если могли, уезжали, ну а тем, кто на украинском, уезжать было некуда.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ
В ГОРОДЕ НОЯБРЕ

* * *

Так холодно — кажется, Малер
Гудит в позвоночнике. Соль
На ветках. Желтеет брандмауэр,
И тополь острижен под ноль.

И облако цвета шинели,
Повисшее на золотом
Гвозде, над мостом, — неужели
Сорвётся? Не будем о том,

Что чудится вдруг в этой чёрной,
Бурливой, блудливой волне,
Свистеть и хрипеть обречённой
В хвалёном граните, во мне,

В скукожившемся прохожем,
Напялившем город как плащ, —
О, как он потёрт и поношен,
И лёгок, и складчат. Не плачь.

То плац, то дворец, то казарма,
И сдавленный вдох — вопреки
Имперскому шарму и сраму.
И выдох. И трепет руки.

* * *

Ах, как жалко страну, как жалко —
И тайгу, и канаву со льдом,
И Камчатку, и Тихову Алку
С третьей парты, и этот, с трудом

Забываемый праздник — ни слова
Про убитых — лишь Волга да степь,
Над кровавою ямой — Орлова
Рассыпает щебечущий степ.

Над бараками, над колючкой
(Кто там спит — грузин, сибиряк?)
Машет Грушенька белой ручкой,
Семиструнный вздох — «чибиряк,

Чибиряк», и цыганским плечиком
Дрогнет даль.
Неужели всё?
Неужели нас, искалеченных,
Даже Бог уже не спасёт?

* * *

Так иди, иди за морозной своей звездой
Сквозь машинный храп, сквозь подлюю дрожь коленей,
По дороге, знакомой до запятой,
Да привычной ямы не перекрёстке, до nota bene,

Посиневших от холода на полях
Текста, вызубренного до рвоты.
Иди, иди, не задерживайся. Этот шлях
Не тобою вытоптан. Никого ты

Не удивишь, не разжалобишь. На хрена
Тебе эта жалость? Поделом вору и мука.
Ты же всегда берёшь чужое, какова б ни была цена,
Так что вслед тебе всё равно понесётся — сука!

Вот и иди по своей Владимирке, позванивай в кандалы,
Приплясывай, как на углях, на снегах и льдинах,
В час, когда капли толпы, ни добры, ни злы,
Выливаются из театров и магазинов,

В час «Прощанья славянки» в переходе метро, жуля,
Поглощённого вырубкой, в час, когда пахнет жжёным
Сахаром и корицей в кофейнях, когда мужья
С глазами побитой собаки возвращаются к жёнам,

А бомжи перед сном перетряхивают тряпьё,
И город сочится рекламой, как лицо позорной
Девки дешёвой косметикой — в сущности, как твоё:
Вы — двойники. И когда багровые зёрна

Габаритных огней ссыпаются в закрома
Дворов, — не говори, что холод
Дошёл до сердца. Впаяна в лёд корма
Васильевского. Ты не была верна
Никому из своих любимых. Не гнётся повод

У коня на мосту, и является во плоти
Снег в фонарном луче — с блуждающею усмешкой.
Бог даёт тебе голос, но всегда говорит — плати! —
Вот и я говорю — не жалуйся и не мешкай,

Не просись малодушно в тепло, на постой,
Не хоронись за углом, за деревом, за колонной:
Всё равно о тебе никто не заплачет — иди за своей звездой,
За бесстыжей, голодной звездой калёной.

* * *

А что нам терять, кроме пыток
Войной, ожиданием, тюрьмой?
Струится любовный напиток
Обманной, слезливой зимой,

То капает с веток вспотевших,
То по лобовому стеклу
Стекает — и выпивших тешит,
Стоящих на зябком углу.

Хозяевами банкета
Они ещё мнят себя, но
Не чувят — небесное это
Час от часу крепче вино,

По скулам текущее, иго
Желаннее, слаще ярмо —
На тёплых, не вяжущих лыка
Над бойней, болотом, чумой.

* * *

Метель на Университетской
Холёной набережной, лёд,
Автобус, паренёк протестский
С двумя подружками, народ

В наушниках. Намокшим мелом
Дворец прочерчен. Ты со мной?
Ты здесь? Безжизненное тело
Реки накрыто простынёй.

В глазах у города мерцанье,
Ладонь, прижатая ко лбу —
Как будто санки с мертвецами
Проскальзывают сквозь толпу,

Как будто произносишь: «Город» —
И тень ложится под стеной,
А эхо отвечает: «Голод»,
И снова тихо. Ты со мной?

Парады, кабаки, цыганки,
Расстрелы, балерины, спесь.
Вот если бы не эти санки.
Метро, окраина. Ты здесь?

Торговый центр, пивная, пьянка
В парадняке. Подъём. Отбой.
Ты здесь? И точно ли твой ангел
Присматривает за тобой?

* * *

Я вымыла окна — и город на шаг отступил,
И робкое небо, неловкое, как деревенский
Нечаянный родственник, пряча под мышкою шпиль
Соседней церквушки, присело на краешек венский.

Молчало, как будто не зная, о чём говорить,
По комнате взглядом блуждало, на книжную полку
С почтеньем косилось. — Пора уже чай заварить —
Нелепая мысль промелькнула, но небо недолго

Сидело на стуле — а вдруг поднялось и ушло,
Всем видом прощенья прося за неумную шалость.
И пёстрые книжки померкли, и только стекло
Внезапно метнулось за ним, обняло и прижалось.

Ночь растворяется в снегу, как кофе в молоке,
Касается замёрзших губ и гладит по щеке,
Но вдруг отступит на шагок, на два шажка всего:
На теле у меня ожог от тела твоего,
И на столе пестреет снедь, и кажется нежна
Возлюбленная жизнь
и смерть — законная жена.

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Вольтская — поэт, эссеист, автор 17 сборников стихов и двух прозаических книг — «Почти не болит» и «Эффект отсутствия. Из Грузинского блокнота» («Книга Сефер», 2023). Английский перевод (Борис Смирнов) фрагмента из книги «Эффект отсутствия» вошёл в шорт-лист премии журнала *World Literature Today* — *WLT Pushcart Prize* (2023)

В 1990-е годы выступала как критик и публицист, вместе с Владимиром Аллоем и Самуилом Лурье была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум».

Стихи Татьяны Вольтской переводились на английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Она — лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), премии журнала «Звезда» (2002), Всероссийского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019) и других премий, участница международных поэтических фестивалей в Роттердаме, С.-Петербурге, фестивалей в Афинах, Нью-Йорке и др. Сотрудничает с радио «Свобода/Свободная Европа».

Она родилась и всю жизнь прожила в Петербурге, но теперь ярлык «иностранный агент» не позволяет ей находиться и работать в России. В апреле 2022 года она вынужденно переехала в Грузию. Своё нынешнее положение воспринимает как изгнание.

Публикуемые стихи — из новой книги избранного «В городе Ноябре» (Нью-Йорк, изд-во *Virgola Press*).

Алик ТОЛЧИНСКИЙ

ОДИННАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕМЁНА ШУЛЬЦА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В конце июля прошлого, 2025 года, мне, как всегда под вечер, позвонил мой хороший друг и автор Алик Толчинский. «Михаил, — спросил он после обычных приветствий и обмена мнениями о жизни и погоде, — можно ли вас попросить посодействовать публикации в следующем номере журнала „Времена“ одного из моих рассказов — „Одиннадцать заповедей Семёна Шульца“. О нём в своё время очень тепло отзывалась Дина Рубина и даже прочила его в журнал „Дружба народов“». Я ответил, что по всей видимости это может произойти в первом номере 2026 года, так как осенний номер уже скомпонован и на редакции. «Жаль, — сказал он, — я могу и не дождаться...» На мои уверения, что он, как всегда, смотрит на всё с очень мрачной и пессимистической стороны, Алик просто заметил, что «моторчик что-то стал часто барахлить в последнее время». На том и расстались — пошутив, что моторчику ещё рано ломаться, и до выпуска первого номера он обязательно доработает.

В начале сентября, не дозвонившись до него, в спешке поместил на его фейсбучной странице своё поздравление с очередным днём рождения и уехал в отпуск. По приезде, удивившись, что он не ответил на поздравление, стал опять названивать, но заметил, что на том конце линии нет даже обычного автоответчика. Несколько дней заняло (Алик жил один) выяснение того, что уже из подозрений превратилось в печальную реальность — 9 августа, не дожив три недели до своего 86-летия, Алик скончался от инфаркта.

Мне очень будет не хватать — и его самого, и разговоров с ним, с человеком прямолинейным, но глубоко интеллигентным, очень осторожно выбирающим слова, чтобы не поранить чувства другого, великолепного аналитика, тонко чувствующего литературу, и его рассказов, которые читаешь и смотришь — много ли осталось, надолго ли хватит? Рассказов, после прочтения которых хочется начать перечитывать, а ведь это и есть признак Той Самой Литературы!

Я познакомился с Аликом в далёком 2004 году, когда он, позвонив мне, представился и попросил помочь ему с подготовкой и публикацией его первого в США сборника рассказов «Страсти по Трастанецкому». Последняя его книга (двадцатая по счёту) «Четыре варианта одной жизни» вышла в свет весной 2025 года. Две его книги были переведены на английский и отредактированы нашим общим другом Робертом Ньюманом, который неоднократно упоминался Аликом в нескольких его рассказах.

Рассказы А. Толчинского — своеобразные монологи, насыщенные искренними признаниями, размышлениями о превратностях и смысле жизни, богатые зоркими наблюдениями и сдобренные остроумием. Они — занимательное и штучное явление, не поддающееся измерению стандартной линейкой критического разбора, типа «в этой книге автор хотел сказать...». Коротко их суть можно весьма точно определить только так, как это делает автор, — это «пёстрые» истории. Но пёстрые не столько в смысле эклектичности (которая, впрочем, здесь тоже безболезненно присутствует), сколько в смысле разнообразия тем и мыслей, сразу же, с первых страниц увлекающих вдумчивого читателя и замечательно иллюстрирующих простую и печальную истину «Суета сует и всяческая суета». И неважно, какие истории вы прочтёте — живой, бесхитростный язык будет обязательно услаждать ваш внутренний слух. А что же ещё вы хотите получить от хорошей литературы?

Герои его рассказов — преимущественно интеллектуалы, начитанные, мыслящие люди, нередко наделённые научными титулами или стремящиеся к ним, склонные к рефлексии и осмыслению своих трудов и дней. И судеб своих близких. Горожане, погружённые в быт с его проблемами, каждодневными реальными заботами — все они в большей или меньшей мере стремятся не погрязнуть в них, а воспарить над буднями. Не просто плыть по житейским волнам, а ощутить быт — как бытие. В калейдоскопе судеб — разглядеть суть и тайны человеческой природы, черты нравственной жизни общества. Именно эта особенность персонажей его рассказов делает их увлекательными, напоминая вдумчивому читателю, что хорошая литература — всегда ещё и человековедение.

Я выполняю своё обещание — рассказ «Одиннадцать заповедей Семёна Шульца» перед вами. И, надеюсь, что ещё не раз вы сможете увидеть имя Алика Толчинского на страницах нашего журнала.

Михаил Минаев, издатель

Сенька Шульц умер легко. Сидел, откинув голову на спинку дивана и закрыв глаза — нервничал, что пришедшая гостя слишком громко говорит. Что за люди стали к ним таскаться! Раньше таких на порог не пустил бы. А вот, ослабел — и полезли как клопы. И вдруг отключился. Жена Нинка с гостьей услышали лишь, как захрипел мужик, забулькал, кинулись к нему, а он уже был далеко, страшно далеко. Не дозовёшься. Скорая примчалась через пять минут, запустили сердце и повезли в клинику. Полчаса ещё возились с Сенькой, но он решил не возвращаться. Так и ушёл, не простившись.

А чего ему было возвращаться? Пять лет прошло, как он надорвался, готовясь к отъезду в Америку. Уже и билеты были на руках. И вдруг — бах! Разбил его паралич. А ведь врач предупреждал его и Нинку, сосуды у вас, дорогой, ломкие. Нервничать и переутомляться противопоказано. Как будто можно взять и разом изменить свой жизненный настрой. Да он всю свою жизнь горел ярким пламенем, и сколько людей грелось возле него! Но характерец был! Кремьень! Если что не по нему, заскрипит зубами и молчок. Неделю будет молчать. Или, к примеру, подхватит жестокую простуду и ходит, страдает, но лицо каменное — сам заразился, сам исцелюсь. «Как себя чувствуешь?» — не выдержит Нинка. — «Нормально». Вот и весь разговор.

А как поженились! Нинка думала, что мужики — порядочные люди.

Хороводилась, потому что мечту имела побыстрее завести семью. А оказалось, что им всем поскорей подавай сладкое, а после этого никаких разговоров о семье и браке. Нинка никак в толк взять не могла, что сладкое надо беречь на закуску и подавать после завершения брачной церемонии. Пришла она однажды в полном отчаянии от беспросветности жизни в гости к Вальке Зуевой. Вместе в школе учились. А там Сенька сидел и ещё две пары. Выпили, конечно, немного, закусили, повспоминали, посмеялись, даже потанцевали. К часу ночи расплозились по комнатам парами. Валька запихнула Нинку с Сенькой в отдельную комнату, подмигнула — парень хороший, не обидит. Нинка разделась, легла. А Сенечка сидит в кресле и вроде бы так и собирается сидеть до утра и молчать. Нинка терпела, терпела и жалко ей стало и его, и себя. Позвала. Тут он, наконец, поднялся и лёг с нею. И оказалось вскоре, что это и был счастливый Нинкин билет.

Сенька был ростом невелик, чуть повыше Нинки, полноват, как многие представители инженерных профессий, просиживающих рабочий день в проектных институтах. Но чувствовалась в нём достаточная физическая сила, так как был он страстным туристом-байдарочником. Пел он приятным баритоном, подыгрывая на гитаре, был в меру общителен

с друзьями, иногда даже весел, но в общем имел вид замкнуто-суровый, что, впрочем, часто наблюдается в низкорослых мужчинах, которые комплексуют по этому поводу и как бы держат оборону против остального высокорослого, потенциально агрессивного мира.

Нинка воспитывалась бабушкой-демократкой, своевольничала и водила компанию исключительно с мальчишками. Мать родила её и уехала по своим более важным делам, как ей казалось в её восемнадцатилетнем возрасте. Однако, несмотря на либерально-демократическое бабушкино правление, Нинка не пошла по кривой дорожке, хотя и курила с восьмого класса и шастала по электричкам со своей мальчишеской компанией, исполняя для почтеннейшей публики душещипательные воровские песенки и лущая семечки на пол, в то время как благонаправленные сверстники сидели в школе. Бабушка любила хорошую литературу, и незаметно Нинка тоже втянулась, шелестя желтоватыми страницами дореволюционных книг иногда далеко за полночь. Так как на знания в любой области запрет не налагался, Нинкин ум быстро развивался и вкус формировался хороший, к тому же, в хорошей литературе, как известно, содержится много бунтарского, как градусы в добром старом вине. В результате Нинкин характер получился совсем мужской, суровый, исключаящий нежности и всякие там сладкие сюсюканье и относящийся с презрением к пустой болтовне соседок по классу.

Короче — славная подобралась парочка. Встречались они у Нинки, потому что у неё была отдельная комната в квартире, куда бабушка никогда не заходила без разрешения внучки, да и некогда ей было, потому что исправляла она высокую должность при горсовете по медицинской части. Сенька не имел привычки потакать женским слабостям, так что их союз, официально признанный государством спустя два года, больше напоминал неписаное трудовое соглашение, по которому каждый должен был справляться со своими проблемами сам, не посягать на духовную свободу супруга, не интересоваться, где он (она) задержался и по какому случаю. Если бы Сенька вдруг приблизился к ней, погладил по голове, поцеловал в щёчку, она бы очень удивилась. Поэтому и ей, и ему было легко на людях. Они были друзьями, а о том, что они не только друзья, вспоминали только перед сном.

Сенька всё продолжал таскаться в свой проектный институт, где, по его словам, дремал после обеда за рабочим столом, уперев карандаш в подбородок. Спали почти все, кроме начальника отдела, который сидел лицом ко всем сотрудникам и непрерывно утрясал рабочие вопросы по телефону. Время от времени его вызывали на ковёр, и тогда сотрудники обменивались шутками, рассказиками о той замечательной

жизни, которая струится и сверкает всеми прелестями бытия за окнами учреждения.

А профессия у Сеньки была отменная. Он был инженером-оптиком и слыл специалистом в волоконной оптике, которая тогда только входила в обиход. Руки у Сеньки тоже были умными, никто лучше его не справлялся с разными хозяйственными проблемами в байдарочных походах. Нинке было жаль, что мужик прокисает без дела, и она вознамерилась помочь ему добыть интересную работу, но сделать это так, чтобы он как бы сам принял решение.

Когда-то в ранней молодости Нинка поступила на мехмат в университет и с успехом проучилась два с половиной года, но *пришла пора, она влюбилась* и решила наплевать на математику и побыстрее стать женой и матерью. Её избранник получил без борьбы что хотел, заставил её сделать аборт и слинял. Тут Нинка решила, что математика слишком скучна, а вот музыка — это и есть её настоящее призвание. Способностей ей было не занимать. Вскоре она поступила в консерваторию и, окончив её, пошла работать в музыкальную школу и подрабатывать частными уроками, благо Страна уже залечила раны, нанесённые войной, и люди стали покупать инструменты в дом, чтобы учить молодое поколение тому, чему они мечтали выучиться сами, да война и послевоенная разруха помешали. Нинка преуспела, приносила в дом больше денег, чем Шульц.

Не зря говорится, что на ловца зверь бежит. Не успела Нинка укрепиться в мысли, что надо помочь Шульцу встать на ноги, как знакомая спросила её, нет ли у неё подходящего человечка в Театр Юного Зрителя на должность заведующего постановочной частью. Требовался надзор за всеми службами, обеспечивающими игру актёров на сцене. Хозяйство было разнообразным и хлопотным. Тут уж не поспишь! В тот же вечер Нинка сказала мужу, что городской ТЮЗ ищет толкового мужика по инженерной части, что дел там невпроворот... и выжидающе замолкла. Сенька промолчал и без комментариев отправился спать. Утром, пока Нинка ещё потягивалась в постели, он спросил как бы невзначай: «А откуда информация об этом?» Нинка сразу смекнула, что рыбка клюнула, и равнодушным голосом назвала имя знакомой. «Ну, пока...», — Шульц напялил треух по случаю лютого холода и хлопнул дверью. Прошла неделя... За ужином, как правило, говорила Нинка. Сеня изредка кивал головой и вполглаза смотрел газету, изредка бросая взгляд на тихо бормотавший телевизор. Слух у него был отменный, и, если случалось на просторах нашей необъятной страны что-либо интересное и к тому же допущенное в эфир, он тотчас это засекал и сопровождал краткими, как телеграфная строка, комментариями.

У Нинки в школе народ подобрался склочный, готовый утопить своего сослуживца в ложке воды. И было бы из-за чего интриговать! Эх, измельчала жизнь! Из-за несчастной десятки друг другу нервы треплют! И вот, когда Нинка рассказывала про очередную интригу в школе, Шульц вставил как бы невпопад: «Я тут принял приглашение работать в ТюЗе». Нинка от удивления аж поперхнулась: «Ну и темнила ты, Шульц! Ну и темнила! А платить тебе сколько будут?» Сенька только рукой махнул: «Посмотрим», а Нинка подумала, что у мужика обязательно должно быть дело в жизни не столько для денег, сколько для самоуважения.

Нам, которым присвоено единственное число мужского рода — «зритель», не приходит в голову, сколько работы кроется за двумя часами разыгрываемого спектакля. Мы говорим: «Хорошая пьеса, хорошая игра актёров» или «Плохое исполнение», не осознавая, что наше недовольство хоронит гигантский труд оформителей спектакля. Если пьеса не пошла, то, выходит, зря художники шили костюмы, писали декорации, зря мастера плотничали, зря осветители и музыканты угождали вкусам главного режиссёра, зря приходила пожарная инспекция. Зритель голосует кошельком. Поэтому, кроме душевного неудовольствия, театр расплавляется за неудачу отсутствием выручки. Не только актёры, но и все вплоть до самого незаметного работника сцены лишаются премии. А премия — одно название, десять-пятнадцать рублей к нищенской зарплате. Не зря говорят, что в театрах работают подвижники, то есть люди, для которых избранный путь является единственно возможным способом существования. Но есть, есть в этой жизни очарование свободы, очарование творчества, потому что нет и быть не может стандартных ситуаций в подготовке спектакля. И это чувствуют все, и не в последнюю очередь, инженерно-техническая служба театра.

Театральные рабочие — народ особый. Зарплаты у них мизерные, так что это либо пенсионеры, либо мальчишки, ждущие призыва в армию, либо совершенно бессмысленные люди, трудовая книжка которых напоминает расписание поездов дальнего следования. Основной костяк, конечно, пенсионеры. Шульц, как человек с высшим образованием и изрядным умением, с ходу взял разнообразное хозяйство театра в жёсткие шоры. Пригодилась дипломная практика. Прежде всего, он выпросил в театральных мастерских, отладил и хорошо закрепил циркульную пилу, которая ходила ходуном. Фанера, пластик, трубки и пруты, крепёж и доски были разложены по размерам. Он прекратил практику, когда рабочий брал первую попавшуюся доску или палку и резал на глазок, чтобы «прикурочить» кусок декорации, или пришивал её таким огромным гвоздём, что острый конец приходилось дважды загигать, чтобы

не пораниться. Шульц приобрёл мощное электросверло и заменил крепление гвоздями креплением болтами. Это позволило легко шить и расширять декорации. Запасы материалов у театра, прямо скажем, никакие, и Шульц требовал жёсткой экономии и продуманности действий. Он тщательно просматривал раскрой фанеры, холстов, сам вычерчивал разного рода конструкции и проверял их безопасность. Он отвечал за всё. Особенной его гордостью была осветительная часть, да ведь он и был инженером-оптиком. Он создавал интереснейшие световые эффекты и обучал этому двух парнишек, которые были влюблены в игру со светом. Главный режиссёр театра Велигодский был человеком вздорным, считавшим себя незаслуженно задвинутым в тень и потому вечно ходившим в пасмурно-раздражённом состоянии, которое улучшалось после двух стаканов портвейна. Однако и он быстро преисполнился не только уважением к Шульцу, но и верой, что тот *может всё*. Шульц иногда дурел от фонтанирующей фантазии Велигодского, но по рангу ему полагалось кивать головой и отвечать: будет сделано! К примеру, для финальной сцены в спектакле «Деньги для Марии», за полупрозрачной тканью драпировок была выстроена лестница, державшаяся на крюках, по которой герои пьесы, подсвеченные так, чтобы были видны лишь их силуэты, должны были бесшумно всходить в выдуманные режиссёром «небеса».

Спустя год приехал на гастроли театр из Питера. Главный режиссёр прошёлся по помещениям, посмотрел, как работает техника, попросил Шульца сопровождать его и к концу посещения сказал: «Слушай, что ты тут делаешь!? Давай ко мне в Питер. Комнату я тебе пробью, а потом похлопочу о квартире, и перевезёшь семью. Нельзя, чтобы человек с таким умением прокисал в провинции! Не обижайся, но ваш город в сравнение с Северной Пальмирой не идёт никак. Соглашайся». Легко ему было говорить «соглашайся». К этому времени родители с обеих сторон поднатужились и купили молодым шикарную трёхкомнатную квартиру. Нинка, которая половину жизни ходила на двор, нарадоваться не могла, какая у неё персональная ванная с душем и унитаз отдельно. Трёхлетнему сыну простор, на велосипеде можно по комнатам ездить. И вот, приходит Шульц домой, молча обедает, берёт газету, смотрит телевизор и как бы между прочим говорит, что пригласили в Питер работать и обещают помочь с квартирой. Нинка так и села. Спорить тут не о чем. Если бы Сенька не решил, не обдумал заранее, она бы никогда о предложении не узнала. Наверное, так будет лучше... Решили, что он поедет первым, получит комнату и начнёт работу, а там видно будет. Подхватил небольшой чемодан, где лежало две пары трусов и три рубашки, коротко кив-

нул: «Ну, пока...» и зашагал к вокзалу. Нинка хотела было всплакнуть, да раздумала. Привыкла к сдержанности. Слова типа «я люблю тебя» у них никогда в ходу не были. Даже минуты близости проходили в полном молчании. Ласки, конечно, были, но весьма и весьма умеренные. Сенька словно боялся словом разрушить что-то потаённое и Нинку приучил.

Приехав в Питер, Шульц с неделю присматривался к обстановке, а затем с яростью принялся наводить порядок. Несколько человек вскоре подало заявления об уходе — с таким, мол, начальником пупок надорвёшь. Рабочий класс составляли такие же пенсионеры и малолетки, что и раньше. Правда, зарплаты здесь, в Питере, были в среднем выше. Шульцу положили аж целых двести рублей в месяц. Персональный оклад пробил главреж. Но и работы прибавилось. Репертуар был куда богаче, публика валила валом — школы регулярно поставляли старшеклассников. Семён вертелся весь день как ошпаренный, но идти ночевать в выделенную шестиметровую комнату не торопился. Ему было интересно общаться с актёрами, пить с ними поздний чай в буфете, слушать анекдоты и заковыристые истории, ему нравились вспышки смеха и нескончаемое дружеское подтрунивание. Среди актёров было несколько любителей шахмат, а Шульц ещё на третьем курсе выполнил норматив кандидата в мастера. Бывало, что желающие во что бы то ни стало выиграть у чемпиона, засиживались за полночь, не придавая особого значения тому, что заведующий постановочной частью Семён Шульц уже в восемь-тридцать-утра должен быть на работе, а они могут себе позволить валяться до полудня. Вообще все вместе они напоминали ему десятиклассников. В них совершенно не чувствовалось солидности, жизненного опыта, умения сдерживать эмоции. Они вечно занимали друг у друга деньги, потому что получали крошечные зарплаты, и хуже всех приходилось тем парням, кто обзавёлся семьёй и детьми. Женщины ведь редко попадают на высокооплачиваемую работу, и потому вся надежда на то, что муж скоро выбьется в люди и потянет семью. А где тридцатилетний актёр может заработать? И сколько таких тридцатилетних ищут пропитания! Вот и скачут по детским утренникам, по разным съездам, по профсоюзным мероприятиям. Счастливички ухватывают эпизоды в фильмах или (страшно и мечтать) — на телевидении!

Семён, нет-нет, да вспоминал свой институт, чиновное начальство, раболепство одних и хамство других. Что ни говори, а здесь кипела живая жизнь. Ради неё стоило, по его мнению, подтянуть ремень. «Ведь что человеку надо? — думал Шульц, крутясь на скрипучей раскладушке в своей убогой шестиметровке. — Немного. Не испытывать сильной жажды и голода и иметь местечко для сна». По ночам он часто просыпался

и вспоминал Нинку и сына Фимку, намечал написать им или позвонить, но наступало утро и он, не завтракая, мчался туда, где его ждало Дело.

Нинка вечерами, уложив сына, слонялась по квартире. Читала, смотрела телевизор, звонила подругам. Дети только на чужих руках растут быстро. Приходилось делать миллион мелких дел — и стирать, и гладить, и готовить маленькому еду. Денег у неё хватало. Шульц переводил ежемесячно шестьдесят рублей, она сама на уроках зарабатывала полсотни, да ещё получала восемьдесят рублей в музыкальной школе. Бабка была без ума от внука и часто забирала его к себе, давая Нинке возможность сходить в кино, театр и прочее.

Так они прожили целый год, пока Валька Зуева не пришла к Нинке в гости и не спросила за чаем, как дела у Семёна. Узнав, что Семён уже год как не видался с семьёй и практически живёт в театре и для театра, она ужаснулась и спросила Нинку в упор: «Ты что, подружка, совсем дура или у вас в семье все такие?» — «А что такого?» — спросила в свою очередь Нинка. — «А то, что молодой мужик один и где — в театре! Среди красоток-артисток! — парировала Валька. — Собирай шмотки и мигом к нему, пока не увели! Ещё будешь благодарна мне за добрый совет!»

Везти в шестиметровую комнату мебель было глупо, и потому Нинка собрала два чемодана самых необходимых вещей, отбила телеграмму Шульцу прямо на работу, обняла бабку — хранительницу и покровительницу, да и отбыла в Питер. Семён встречал их на казённой машине, наскоро обнялись, подкинул Фимку в воздух, прибавив: «что-то мало за год подрос».

«Кровать и стол я достал, — добавил он уже в машине. — Магазин рядом, если нужно чего, покупай. Вот тебе четвертак. Вот ключи от квартиры и комнаты номер семь. Приду поздно. Новый спектакль выпускаем».

Нинка сидела на стуле с продранной обивкой, созерцала огрызки хлеба на газете и боролась с желанием разреветься в голос. Грязное маленькое окно выходило на глухую стену красного кирпича, за стеной топотали соседи. Оказалось, что в бывшей трёхкомнатной квартире, где гостиная была поделена пополам, разместилось ещё две семьи, а в третьей жила весьма пожилая пара. Кому принадлежала квартира до революции, нынешние жильцы не знали, но теперь она числилась за кондитерской фабрикой, где они все и трудились. Соседи оказались людьми незлыми, Нинку не обижали, а Фимке регулярно таскали с конвейеров разные сласти.

Сказать Семёну, что он совершил глупость, Нинка не могла. Он был человеком острым и старался продумывать свои действия задолго. Не было у него лишь одного качества, отсутствие которого и раньше портило

ему жизнь. Он не умел и не хотел ждать, пока дурак поумнеет, а ленивый дозреет. Видя раздолбайское отношение к делу, он взрывался, с ненавистью кричал в пространство «Козлы!» и либо принимался, засучив рукава переделывать халтуру, либо грохал дверь и выбегал на улицу, чтобы наматериться досыта. Получив в подарок от родителей кооперативную квартиру, Шульц отнюдь не обрадовался, не побежал с благодарностями, а лишь процедил сквозь зубы, что теперь уж он засел в Хохляндии, по-видимому, надолго. На вопрос любящей мамы, что же ему ещё не хватает для счастья, Сенька рявкнул, что они, родители, не понимают сладость свободы, потому что всю жизнь прожили в социалистическом лагере, и такого счастья ни ему, ни его детям не нужно. Меняя бывший столичный город Харьков на Питер, Шульц словно увеличивал степень своей свободы — ну как же, ведь прямо через залив Финляндия, отсюда начинается свободный мир! Ему казалось, что ещё шаг-другой — и он станет гражданином мира. Мира! При этом он почти по-мандельштамовски вскидывал голову и глядел вокруг горделиво, по-петушиному.

Родители, конечно, не могли допустить, чтобы любимый сын, предмет гордости ютился в шестиметровой коммуналке с женой и ребёнком. Не прошло и трёх месяцев, как нашёлся обмен, и вскоре молодые переехали в двухкомнатную квартиру на Гражданке, в «хрущобе». Обменщик делать ремонт отказался, мол, денег нет, но театральные люди помогли. Художники сделали дизайн, сам Шульц к этому времени так наловчился с разным инструментом, что никакой ремонтной конторе не угнаться. У Сеньки завязались тесные связи с театральными мастерскими, так что в материалах недостатка не было. И вот, несмотря на низкий потолок, квартирка получилась уютная, вполне пригодная для жилья, как шутили — маленькая, но хорошая («С балконом!» — добавляла Нинка со значением в голосе).

Первое время Шульц решил опекать жену, и в выходные стали они вместе ходить в «Универсам», отовариваться на неделю. Дабы не терять время, он брал с собой портфель с документами, и пока стояли в очередях, он бегло просматривал всякие там счета и письма, иногда доставая ручку и чиркая роспись. Вот из-за этого портфеля у Нинки каждый раз портилось настроение. Баба в синем халате непременно требовала на весь зал, чтобы сумки и портфели сдавались в «хранение». Шульц при этом с независимым видом шёл мимо, словно не слыша. Когда же они подходили с тележкой к кассе, кассирша начинала орать, чтобы Шульц открыл портфель, потому что многие воруют. Шульц мгновенно вскипал и орал, чтобы ему показали статью, допускающую обыск покупателей. Очередь сзади тоже начинала орать, чтобы Шульц не задерживал других.

Тогда он обращивался к очереди и обращался с пламенной мараатовской речью к тем, кто позволяет унижать своё и чужое достоинство. На угрозу кассирши вызвать милицию Сенька с вызовом кричал: «Зови! А я им расскажу, как вы тут торгуете гнилым мясом и просроченными молочными продуктами». Последнее действовало успокаивающе на персонал магазина, и Шульц с Нинкой уходили победителями, так и не раскрыв портфеля. Вскоре Нинка устала от непрерывных скандалов в магазинах и однажды вечером сказала, что теперь она уже и сама справится с покупками, а он пусть занимается делами. Если что нужно, она попросит. Шульц кивнул головой и уткнулся в газету.

Между тем, в театральных кругах распространились слухи о Сеньке, как о необыкновенно талантливом заведующем постановочной частью, и не прошло и полугода после переезда на Гражданку, как поступило предложение работы от дирекции Ленкома. Как ни ныл, как ни упрашивал главный режиссёр ТЮЗа, Шульц молча подал заявление об уходе и через две недели в последний раз закрыл за собой дверь.

Вхождение в должность, если витийствовать высокопарно, прошло быстро, благо затраченное время плавно перешло в повышение качества и тому не могло помешать дальнейшее расширение масштаба действий. словно происходило одевание большей «матрёшки» на меньшую. Пожалуй, можно лишь сказать, что ярость, с которой Шульц проводил в жизнь свои принципы ответственности за порученные дела, всё возрастала. «А с кого требовать?» —спросите вы.— Это ж не оборонный завод. Многие не выдерживали и уходили. «Меньше народу — больше кислороду!» — парировал Шульц наскоки профсоюзного комитета и добавлял — «Театр не богадельня, театр — одно из немногих оставшихся незагаженными мест, где люди на работе обязаны выкладываться!»

Шульц вместе с главным режиссёром Топоровым и директором театра Васильевым являлись триумвирами, но и взаимоотношения у них были ничуть не менее сложными, чем у Юлия, Помпея и Красса. У директора основной заботой были пожарная и техническая безопасность. Поэтому, когда на генеральную репетицию приходил курирующий театр пожарный в лейтенантской форме, директор сидел рядом и внимательно записывал все замечания. Задачей Шульца и режиссёра было во что бы то ни стало надуть пожарного, поэтому все пиротехнические эффекты на время репетиции отменялись, даже сигареты не зажигались. Топоров всякие выстрелы и вспышки обожал, очевидно, в детстве не настрелялся, и Сенька порой очень уставал от режиссёрских фантазий. Однажды в пьесе Метерлинка, где главный герой летел над облаками на спине доброй феи, Топоров настрелял столько дымовых зарядов для изображе-

ния облаков, что в передних рядах зрителям просто нечем было дышать, о чём несколько пожилых матрон резко и громко выразились прямо по ходу спектакля.

Авторитетность суждений Шульца признавали все, ну как же, специалист с инженерным дипломом, а всё умеет делать руками, да как делать! Однажды в разговоре за бутылкой коньяка Топоров возьми и скажи: «А слабо тебе, Сеня, сварганить мне стенку с баром по моим эскизам?» — «Не слабо, — ответил Семён, — покажи эскиз». — «Ловлю тебя на слове, — сказал Топоров. — Материалы за мной».

Сенька и раньше не очень-то стремился помогать в домашних делах, не мужское, мол, это дело — стоять над раковиной или полы пылесосить. А тут в связи с постройкой стенки он вообще на три месяца выпал из семейного процесса. Топоров оказался человеком с большими связями. Когда бы Шульц не заикнулся о шурупах, клее, фанере, Топоров, что называется, брал под козырёк — будет сделано. И стенка вышла — загляденье. Бар открывался, и тут же загорались бегущие огоньки разноцветных лампочек, звучала тихая, приятная музыка, стенка бара опускалась на цепях подобно подъёмному мосту в старинной крепости. Рядом с баром был секретер, далее шло два книжных шкафа с толстыми стёклами, по которым шёл изысканный травленный орнамент, потом стенка делала угол и ещё два шкафа с углублениями для видеотехники и полками для разных хозяйственных вещей, а потом ещё один большой платяной шкаф с внутренним зеркалом. Семён строил стенку у себя дома, не позволяя Нинке входить и проводить уборку. Фимка, правда, допускался, и отец всё время давал ему «очень важные» поручения, которые тот сосредоточенно выполнял. Когда же Нинка звала его поесть или пойти погулять, он по-взрослому, отвечал: «Я сейчас занят, мне некогда». Топоров всучил Сеньке триста рублей за работу, как тот ни брыкался, и устроил несколько банкетов по случаю окончания строительства. На этих вино-водочных праздниках Сенька с Нинкой с кем только не познакомились! И режиссёры, и известные актёры, и писатели. Всё это была публика, умеющая много пить, но не впадающая от этого в скотское состояние, так что веселье собравшихся ничем не омрачалось, напротив, с каждым тостом становилось всё смешнее и веселее. Особенно нравился Нинке детский писатель Сергей Вольф, огромного роста, с лохматой шевелюрой и бородой, прямо-таки добрый Карабас-Барабас. Шульцы тоже ему понравились, и впоследствии они не раз встречались домами. Топоров всегда гениально находил момент, когда начиналась демонстрация уже ставшей знаменитой стенки. После «ахов» и «охов» Топоров делал паузу и, вытянув по-ленински руку, возглашал: «Вот,

рядом с нами находится творец этого технического чуда, который смог осилить, я не побоюсь сказать, грандиозную работу своими умными руками». Потом Топоров расхваливал деловые и человеческие качества Шульца, и всё это проделывал без амикошонства, так что смех сидящей публики ни в коей мере не был обидным.

Хотя за праздничными столами и в театре хватало хорошеньких и даже очень хорошеньких молодых женщин, Шульц казался им всем зачарованным принцем. Как только ни изощрялся Амур, посылая в сердце Сеньки стрелу за стрелой, всё было попусту. Вступая в разговоры с женской половиной человечества, Шульц никогда не сокращал дистанцию, всегда был немного суров, но абсолютно корректен. К тридцати годам он обзавёлся изрядной лысиной, что в сочетании с небольшой рыжеватой бородкой придавало ему немалое сходство с вождём мирового пролетариата. В кругу Топорова даже делались туманные предложения порекомендовать Сеньку на съёмки фильма о революции, но ввиду его беспартийности и бескомпромиссного негативизма в вопросах веры в светлое коммунистическое будущее, его так никуда и не порекомендовали. Некоторые актрисулечки после третьей рюмки даже жаловались Нинке (в шутку, конечно), что Шульц ни на кого не обращает внимания, но Нинка таких шуток не любила и отвечала в том духе, что это нормально для нормальной семьи и она, Нинка, тоже не допускает мысли об измене. Вообще Нинка считала, что люди объединяются в семью, чтобы рожать детей и потом их совместными усилиями воспитывать. Всякие там спазмы-оргазмы она считала досужей дребеденью, которыми забивают страницы модных западных романов, чтобы публике было интересней читать. Она легко шла на контакт с Сенькой, благо он продолжался недолго, и с сознанием выполненного супружеского долга легко проваливалась в сон. Привыкла как-то и не замечала, что рядом с ней сосуществует физически привлекательный мужчина с прекрасно вылепленными плечами и атлетической грудью (Сенька в молодости занимался штангой и боксом). Она ценила его за ум, за умение дружить и за то, что в народе называют мастеровитостью. При том-при всём она не могла изредка удержаться от бабьих скандалов со слезами, когда она считала, что именно Шульц должен пойти и договориться в домоуправлении о замене треснувшей раковины, или срочно починить утюг, а то нечем гладить бельё. В таких случаях Шульц растерянно молчал, закинув голову на спинку дивана и закрыв глаза. Потом покорно вставал и шёл чинить или ругаться в ЖЭК. Он был совершенно незащищен перед женскими слезами.

Как ни ценили окружающие лица таланты Шульца, его ставка в 210 рублей оказалась точкой замерзания в шкале театральных зарплат.

Нинка, сочетая консерваторское образование и нетребовательность уборщицы, добилась, что её признали в разных семьях лучшим учителем музыки. Её занятость в музыкальном училище была минимальной, что позволило избежать передрыг по поводу нагрузки и, с другой стороны, давало возможность заниматься воспитанием Фимки. Благодаря частным урокам, Нинка выколачивала до двухсот пятидесяти рублей в месяц, так что семейного заработка хватало на всё.

Не отягощая свой ум разработками всемирно известных педагогов, Нинка взяла за основу один единственный принцип воспитания — ребёнок не должен слоняться без дела, и маленький человек трудился весь день то с математикой, то с рубанком, то плёл макрамэ, то читал и так до бесконечности. Нинка пристроила Фимку в математический кружок в центральный дом пионеров, а макрамэ он занимался в районном. На закуску Шульц настоял, чтобы парень учился играть в шахматы и порой устраивал ему суровый экзамен.

Всю жизнь с тринадцати лет Нинка мечтала иметь и воспитывать своих детей. К матери она чувствовала холодное отчуждение, и мать ей платила той же монетой. И надо же так случиться, что именно Нинке дети давались с огромным трудом. До Фимки она дважды донашивала ребёночка почти до шестимесячного срока, а потом проклятая биохимия её организма отторгала от неё существо, которое она уже любила всеми силами своей души. И вот, Фимка рос и всё больше сближался с отцом, а ей порой становилось так одиноко, что хоть вой. И она стала упрашивать Сеньку помочь ей со вторым ребёнком. Семён урезонивал её как мог, врачи, мол, не советуют, но она стояла насмерть. И опять раз за разом повторялась предыдущая история. Опять она не могла доносить маленького. После каждого выкидыша она теряла массу крови и долго-долго приходила в себя, но потом с упорством снова лезла к Шульцу. Он нервничал, курил по две пачки в день, объяснял ей, что не хочет быть причиной её смерти — ничего не помогало. Она, как говорится, зациклилась.

Между тем на Шульца вышел главный режиссёр Малого Драматического театра Загряжский и стал сманивать его к себе. Они уже были знакомы по вечеринкам у Топорова, квалификация Шульца не вызывала сомнений. Загряжский знал, что «материальными благами» Семёна не соблазнить, но можно завлечь масштабностью предстоящей работы. И Сенька клюнул. Как всегда, он месяц ходил и молчал, а потом сунул своё заявление об уходе директору. Тот аж позеленел от злости и побежал к Топорову, тот лежал дома с ангиной. Когда они вдвоём заявили в комнатку Шульца и стали, как в хорошем дуэте, орать каждый своё,

один в наступательном плане, а другой, заламывая руки, как Ярославна на стене в Путивле, на кого, мол, родненький, меня бросаешь, Шульц встал, громыхнул стулом и отрезал: «Всё. Я решил уйти, и кончено». Никаких тебе доводов *про* и *контра*. Что с ним поделаешь!

С Загряжским договорились, что Шульц оформится, но возьмёт полтора месяца от накопившихся отпусков. Лето в том году радовало. Отправились в байдарочный поход на границу Литвы и Белоруссии. Прекрасные и рыбные озёра соединялись узкими протоками, в лесах пошли колосовики, да какие! Одни белые. Объедались грибными блюдами. У знакомых оказался парус со швертами, и хождение под парусом по озёрам в ветреные дни вызывало восторг у детей и взрослых. Шульц тоже походил под парусом, а потом у костра объявил, что приступит к работе и начнёт вместе с Фимкой строить настоящий швербот. Нинка от свежего воздуха и питательной еды с лесными витаминами похорошела и помолодела на десять лет. Ходила радостная, пела песни под гитару, Шульц неплохо аккомпанировал. Вернувшись домой, она твёрдо объявила Шульцу, что теперь она точно ребёночка доносит и надеется на его хорошие гены.

Осенью Фимке исполнилось девять лет и он, не выходя из пионерского возраста, безумно увлёкся персональными компьютерами, которые уже начали потихоньку поступать в СССР за валюту. Один из таких компьютеров попал в Центральный дом пионеров города Ленинграда. Фимка ошивался возле него всё доступное время, и родители поняли, что это его судьба. Шульц, правда, строго предупредил сына, что без математики он будет исполнять роль экскурсовода при компьютере, так что они ждут от него серьёзного подхода к делу, и кроме того, никто его от должности помощника в строительстве швербота не освобождал.

Вернувшись из отпуска, Шульц по уши влез в работу. Несмотря на ордена, пришипленные к знамени знаменитого театра, последний располагал крошечной сценой и маленьким зрительным залом. Поэтому от Сеньки требовали технических чудес, позволяющих развернуть полномасштабное театральное действо так, чтобы его величество зритель не почувствовал недостатка пространства. И Сенька выкладывался как мог. Сооружал макеты, напихивал скрытую механику с блоками и рычагами, использовал по совету Загряжского площадь зрительного зала. Артисты бежали по проходам, орали, стреляли, горланили песни под гармонь, врывались по приставным лестницам на сцену и скатывались с неё. Зритель сидел обомлевший и счастливый, когда над головой бахали револьверы и пот брызгал с лиц актёров прямо на дорожки. Создавалась полная иллюзия соучастия в событиях пьесы, а отсюда и более глубокого сопереживания. Темп жизни Шульца взвинтился до такой

степени, что он утром не чаял, когда придёт домой. «Прямо, как в годы Великой Отечественной», — угрюмо шутил он с друзьями.

Нинка, меж тем, собиралась назло всем анализам стать матерью. А анализы у неё с каждым месяцем становились всё тревожнее. Наконец она дотянула до шести месяцев и легла на сохранение. Не прошло и десяти дней, как в клинике появилась громогласная профессорша, которая при виде Нинкиных анализов пришла в ужас и позвала её к себе в кабинет. С нахрапом человека, который привык, что с ним всегда соглашаются, она стала пытаться Нинку. Узнав, что у неё уже есть девятилетний сын, она закричала: «Ребёнок живой, здоровый есть — и хватит! Вам что же, своя жизнь совсем не дорога? Нет, мы не можем допустить такой безответственности!» Нинка пыталась возражать, но ничего, кроме «Я хочу ребёнка» вымолвить не смогла. Профессорша даже разозлилась и неожиданно сухо и холодно сказала: «Идите в палату, мы разберёмся, как вам помочь». На следующий день молодая сестричка подошла к Нинке и сказала: «Укольчик пора делать». Нинка покорно повернулась попой вверх и услышала: «Так, что там у нас сегодня? — Витамины и фолликулинчик!» Витамины Нинке кололи с самого начала, как она легла на сохранение. А вот, фол-ли-ку-линчик? Что это за зверь такой? Вечером она позвонила знакомой, у которой мать была докторшей, и быстро выяснила, что этим зверем профессорша велела изгнать ребёнка из Нинкиного чрева. Она едва дождалась утра и позвонила Шульцу в театр из автомата, что стоял на лестничной площадке. Домашнего телефона у них всё ещё не было, хотя они стояли в очереди уже пять лет. Обливаясь слезами, она просила Сеньку защитить её от гадины-перестраховщицы-профессорши. Шульц примчался из театра на такси, ворвался в приёмную главного врача и устроил там маленький еврейский погром, где погромщиком был один-единственный еврей, то есть он сам, Семён Шульц. Однако дирекция дрогнула и соединила его с профессоршей, которая тоже была бабой с характером и глоткой, но Шульц переорал её и она, наконец, устало сказала: «Если вам не дорога жизнь вашей жены, то дайте нам расписку от вас обоих, что вы отказываетесь от лечения». «Расписку я вам дам, — сказал Шульц, — но витамины и все полезные для сохранения жизни матери и ребёнка лекарства вы продолжать будете, и я за этим прослежу и лично, и со своими консультантами». Потом он пошёл в палату к Нинке и, виновато пряча глаза, сказал, что если с ней что-то случится, то он себе этого никогда не простит. Нинка лежала, уставившись в окно, слёзы ползли по щекам и скатывались на подушку. Выдержав паузу минут в пять, Сенька неловко протянул руку и похлопав её по плечу, сказал: «Ну, я пошёл, пока».

То ли Шульц нагнал страху на медиков, то ли Господь сжалился, но к концу седьмого месяца показатели крови немного улучшились, и Нинка, получив массу инструкций и предостережений, отправилась домой.

У них, в Малом Драматическом нередко приглашались режиссёры со стороны для работы с коллективом актёров. У каждого режиссёра, естественно, были свои заморочки, которые высокопарно назывались «*своим видением*». Каждое новое *видение* ложилось тяжким грузом на плечи Шульца ещё и потому, что он совершенно не умел халтурить. Пропадая на работе, он временами спохватывался и вспоминал, что дома сидит Нинка и ждёт «звонка» в глубинах своего тела, чтобы ехать рожать, а он до сих пор не смог пробить проклятый телефон и, вот, она словно на Марсе, а он на Земле и практически бессилён ей помочь в тяжёлую минуту. С досады он палил сигареты одну за другой и кидался в суету очередного готовящегося спектакля. В одну из ночей раздался длинный требовательный звонок в дверь. Ввалилась Генриетта Яновская, которая ставила у них свой «Стеклянный зверинец». Она решила устроить ночную репетицию, что-то там у них не заладилось с техникой, и вот она примчалась на такси увезти Шульца среди ночи, чтобы он разобрался. На Сенькины возражения, что у него вот-вот должна жена разродиться, и что ему не хочется оставлять её в таком положении одну и без телефона, Генриетта с базарным пафосом крикнула, что ей плевать, родит его жена или не родит, а вот у неё послезавтра премьера. И Зрителя судьба его жены тоже несколько не волнует. Шульц вздохнул, — что ж, работа прежде всего, разумеется, — и отправился в театр. Возвратился он в десятом часу утра, убедился, что Нинка жива и попросил пару часов его не будить. Засыпая, он подумал, что если наплевать на судьбу роженицы, то с таким же успехом можно растереть в пыли слёзы несчастного ребёнка, которые помешали когда-то Ивану Карамазову принять царство небесное. «Что же важнее — думал он, проваливаясь в сон, — трёхчасовое удовольствие пары сотен зрителей или жизнь матери и её новорождённого младенца?»

Всё у Нинки обошлось совершенно благополучно, всё шло, как по заранее написанному доброму сценарию. Схватки начались ранним утром в пятницу, ещё до ухода Сеньки на работу, а в два тридцать пять Нинка родила девочку. «Что же ты ревёшь, девонька, — спросила Нинку пожилая санитарка. — Радоваться надо. Вся жизнь впереди. Как в песне, помнишь? — Не надо печалиться, вся жизнь впереди!» Но Нинка молчала. Она знала, почему плачет. Она оплакивала женскую долю своей дочери, которой предстояло вслед за матерью пройти все круги мучений от женских недугов до абортов и родов, до бессонных ночей

и бесконечных забот о маленьких. Логика твердила ей, что она сама бесумно хотела ребёнка, но эмоции брали верх.

В тот день ничто не предвещало несчастья. Нинка уже три недели как была дома. Проблем с молоком пока не предвиделось. Шульц, как всегда, молчаливо собрался, вытащил сигарету и выкатился за дверь. У них был уговор — в квартире, где появилась маленькая, не курить. Среди тысяч срочных дел Сенька наметил заглянуть к заведующему литературной частью Серёжке Шувалову в Ленком. Выкурив по дороге очередную сигарету, Шульц взбежал на третий этаж и вдруг почувствовал, что ему нечем дышать. словно в лёгких образовались дыры, в которые уходит засасываемый воздух. Шувалов мигом смекнул, что с Сенькой творится неладное, и вызвал скорую. Те приехали и через пять минут определили, что у Сеньки обширный инфаркт. Сенька к тому времени, вроде бы, оклемался и порывался встать, приговаривая: «Какой там, к чёрту инфаркт, у меня дочь месяц назад родилась!» «Молчи уж, герой, — урезонивал его Шувалов, — видишь сам, допрыгался, теперь лежи, пока врачи не поставят на ноги» Около восьми вечера Шувалов пришёл к Нинке со своей заместительницей Любой. Нинка им сказала: «А Семёна ещё нет...».

«Да мы знаем, — ответил Сергей. — Тут ведь вот какое дело. Приболел он немного. Его от нас повезли прямо в больницу. Вот мы и пришли тебя предупредить».

«Ты, главное, о дочке думай, чтобы молоко не пропало, а Сенька мужик молодой, выберется. Инфаркт у него определили» — сказала Люба.

«А на работе об этом знают?» — только и спросила Нинка.

«Знают, — ответил Шувалов, — я им сразу после скорой позвонил».

«Суки они, — с печалью произнесла Нинка, — он для них в лепёшку расшибался, а заболел, так никто не пришёл. Все оказались страшно заняты. Особенно эта блядь Яновская, которая среди ночи его работать возила. Будто ей дня не хватало...»

Нинка оказалась права. Сеньку театр словно вычеркнул из памяти. Может быть, если бы стоял дома телефон, то кто-нибудь и позвонил...

Сенька оклемался довольно скоро, но пробыл на реабилитации ещё полтора месяца. Тогда ещё с инфарктом возились долго, не то, что сейчас. Приехала из Харькова свекровь и стала ежедневно опекать сына в больнице. По этому поводу спустя полгода Сенька мрачно пошутил, что студентом мечтал, чтобы детей делали в пробирках, дабы избежать в будущем исполнения взаимного сыновнего и родительского долга. На это Нинка ему резко заметила, что у детей вообще нет никакого долга перед родителями, которые получают удовольствие от самого процесса воспро-

изводства, а хорошо ли у детей потом жизнь сложится, никто гарантировать не может. А что касается отношений с мамой, то взрослый человек, выбирая жену, как бы даёт клятву верности жене, что будет жить и заботиться о ней и их детях, а если он считает, что мама важнее, то пусть идёт к маме и живёт с ней, но в её, Нинкиных глазах он будет подлец и мерзавец. Причина этой гневной тирады, безусловно, существовала.

Свекровь, приходя из госпиталя, долго вздыхала и жалобно глядела на Нинку, взывая о сочувствии её горю. Несколько раз в той или иной форме она повторяла, что, если бы не рождение дочки, Сенечка так бы не нервничал и, наверняка, был бы здоров. Получалось, что именно Нинка с её настырным желанием иметь второго ребёнка устроила Сеньке инфаркт. Нинка ругаться не умела. Когда её обижали, она уходила в себя, замолкала, нос у неё и так немалый, вытягивался, щёки вваливались, недлинные чёрные волосы торчали пучком дикой травы, и она становилась похожа на средневековую ведьму, как их изображают на офортах того времени. Свекровь ничего не замечала, она ходила весь день с глазами полными слёз и время от времени прикладывала платочки да тихонько сморкалась.

После госпиталя Семён ещё полтора месяца сидел дома, возил коляску с Машенькой, укреплял здоровье, даже начал бегать. Гулять с коляской ему вскоре наскучило, и он прицепил её к велосипеду. Увидев это техническое новшество, Нинка ахнула и сказала, что не для того она мучилась-вынашивала, чтобы отец бездумно распорядился жизнью дочери.

В театр Шульц наведалься ещё два раза — подал заявление об уходе и через две недели зашёл в бухгалтерию забрать довольно приличный остаток денег по бюллетеням. «Пришёл — ушёл, ни тебе здарсьте, ни вам спасибо», — попытался съязвить директор, на что Шульц сухо сказал: «Вам лично и коллективу вашего театра спасибо говорить не за что», и крепко притворил дверь напоследок. После этого он направился к директору театральных мастерских Петровичу, которому сказал без всяких предисловий: «Хочу у тебя работать». Петрович знал, с кем имеет дело, и так же просто ответил: «Можешь выйти на работу через пару недель? Я тебя начальником производства поставлю» — «Могу», — ответил Шульц и, уходя, прихлопнул дверь, но уже не так крепко, как в кабинете директора театра.

В мастерских Шульцу работалось на редкость приятно. Он временами вспоминал актёров и режиссёров, и они сейчас казались ему капризными, избалованными детьми с болезненным самомнением и тщеславием, создающими иллюзию лёгкости и открытости отношений с помощью профессиональных приёмов. По пьянке один из ведущих актёров театра Никодимов сказал как-то Сеньке в виде откровения: «Вы, ребята, создаю-

щие нам антураж, по сути являетесь чёрной костью. Вы думаете о себе, что вы корни дерева, но это хренотень. Мы играли и можем играть без вас. Нам не нужны ни ваша техника, ни ваши костюмы. Мы древнее вас на тысячи лет. Поэтому мы — дворянство в искусстве, а вы — чёрная кость». В мастерских Сенька чувствовал себя равным среди равных. В отличие от театральных доходяг здесь работали люди умелые, которые понимали Сеньку с полуслова и, кроме того, тут была масса всякого рабочего материала: ткани, пластик, резина, красители, клеи, крепёж, в общем, всё, чего пожелает душа работающего человека. В госпитале Шульц познакомился с художником-реставратором Васильевым. Очень они друг другу понравились и после лечения стали встречаться. С подачи Васильева Сенька увлёкся резьбой по дереву и настолько, что почти все свободные вечера проводил со стамесками в руках, да и Фимку заразил. Всякого древесного сора теперь в квартире было выше крыши, но Нинка придерживалась позиции — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы было тихо и мирно в семье.

Как известно, социализм создаёт дефицит всего, чего душа пожелает. Помните, был такой анекдот? — «Что будет, если в пустыне Сахара установится советская власть? — Сначала всё будет хорошо, а потом начнутся перебои с песком». На этом фоне подавляющее большинство населения, где могло, подворовывало. Мастерские не были исключением. Шульц, взглянув на изобилие всего-чего-душа-пожелает, сразу понял, что у него появился реальный шанс воплотить мечту о шверботе в жизнь. Он арендовал здоровенный сарай на берегу Финского залива, соорудил стапели, и регулярно по субботам и воскресеньям они с Фимкой отправлялись строить судно. Мало-помалу они обшили каркас досками, уплотнили щели, закрепили всё сверху стеклотканью с эпоксидной смолой, потом Шульц раздобыл около двухсот килограммов стальных шариков, которые засыпали в полый шверт, потом раздобыл стеклопластиковые трубы и изготовил телескопическую мачту. Месяца два ушло на пошивку парусов, но тут и швейный цех в мастерских помог. Шульц всё оплатил по накладной. Наконец, спустя почти два года с начала стройки, корпус был выкрашен в голубовато-зелёный цвет и на борту появилась яркая красная надпись «Нинка». Судно было торжественно опробовано в водах Финского залива, после чего было устроено поедание фирменных Нинкиных котлет с салатами и обилием крепких напитков.

Фимка, меж тем, поступил в математическую школу, в которой учился до шестого класса. Шульц, который считал хорошее образование наилучшим вложением капитала, решил перевести его в школу с более высокими требованиями. Фимка выдержал вступительный экзамен в седьмой класс и в списке сдавших его фамилия стояла на пятом месте.

Когда же он с Нинкой пошёл смотреть списки поступивших, то себя там не нашёл. Крайне расстроенные они пошли к директору, где после двухчасового унижительного стояния под дверью их впустили и объяснили, что Фимку они не приняли из-за того, что у него в дневнике по прилежанию стоит «удовлетворительно». Тут Нинка впервые за тринадцать лет увидела, как из глаз сына выкатились две огромные слезы, и он прошептал: «Как же так, я ведь всё решил!» И тут Нинка нашла в себе силу духа и сказала очень громко, на весь школьный коридор: «Не горюй, сынок, тебе не надо учиться в математической школе, где „прилежание“ является основным предметом, ты для них слишком талантлив!» Узнав о случившемся, Шульц побегал по комнате, порычал что-то нечленораздельное и, успокоившись, сказал: «Нинка права». Потом после паузы: «Сваливать отсюда надо и поскорее!»

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Не так-то просто бывает иногда сняться и улететь. Когда Сенька позвонил матери в Харьков и объявил о намерении уехать, мать стала плакать и говорить, что она без него скоро умрёт. Услышав стоны и слёзы матери, Шульц, что, как всегда, делал в минуты растерянности и бессилия, сел на диван, откинул голову и закрыл глаза. Надо было что-то придумать, чтобы ехать с родителями, которые считали себя вполне счастливыми и устроенными.

Время шло. Купили маленький рояль, и Нинка стала прилежно заниматься с Машенькой. К семи годам дочка уже почти всё освоила, поступила в музыкальную школу, и всё казалось уже заранее определённым на ближайшие семь лет, но тут помог случай, который часто помогает тем, кто ищет. Краем уха Нинка услышала по радио, что клуб имени Войкова набирает желающих учиться на органе. «Вот оно! — подумала она. — Пианистов хоть пруд пруди, а органисты — штучный товар». Уже на следующий день она отправилась с Машенькой в клуб и спросила учителя органа. Выскочил смешной бородатый парень Михаил Михайлович и тут же повёл их к электрооргану, к которому некий умелец приделал ножную клавиатуру. Узнав, что Машенька уже хорошо играет на рояле, он попросил её сыграть левой рукой на нижней клавиатуре, а правой на верхней. Получилось, и неплохо. Потом он попросил Машеньку сыграть левой рукой на верхней клавиатуре, а правой на нижней. Опять получилось, и опять неплохо. «У девочки большие способности», — сказал парень, широко улыбнувшись. Берусь её учить. «А мне нельзя у вас учиться?», — робко спросила Нинка. «Мать и дочь вместе — это *too much*, извините, — улыбнулся парень. Думаю, вы не последние желающие...».

Время от времени Нинка ловила себя на мысли, что она ворует детство у дочери, но надо было знать Нинкин характер, — стоило ей укре-

питья в какой-нибудь мысли, как всё остальное становилось маловажным или даже вообще неважным и не на неделю, не на месяц, а на годы. Годы! Фимка жутко ревновал мать к сестрёнке, но, наследуя семейную сдержанность, делал вид, что отсутствие материнского внимания его ничуть не трогает. Шульц тоже приходил в недоумение, чувствуя, что и его отодвинули в сторону. Нинкина сдержанность постепенно переросла в холод и безразличие. Шульц ни за какие коврижки не стал бы выяснять причину возникшей холодности жены, не говоря уж о том, чтобы прикоснуться, погладить, поцеловать. Придя с работы и не имея возможности сразу после ужина заняться каким-нибудь полезным делом, он сидел с закрытыми глазами, закинув голову на спинку дивана, и слушал теленовости или трёп политических обозревателей.

Пока Машенька всё выше продвигалась по музыкальной лестнице, ведомая школьными педагогами и Михаилом Михайловичем, которого все быстро стали звать Михмихом, Фимка тоже времени не терял. Он прошёл по конкурсу в физико-математическую школу при Физико-техническом институте и шёл в десятке наиболее одарённых парней. Учили их там, разумеется, не по школьному стандарту, приспособленному к уровню середнячков. Лекции им читали крупные специалисты в области физики и математики, которые приезжали из Физтеха, и работы, которые там выполнялись в качестве лабораторного практикума, ничем, по сути, не отличались по сложности от университетских. Забавно, что на вступительном экзамене в девятый класс Фимка, всё решив и решив правильно, сдал вместо чистовика черновик. Обнаружилось это в конце дня, и Фимка был в полном отчаянии. Шульц, увидев, что с парнем творится неладное, пообещал с утра пойти с ним к директору школы и попытаться убедить его, что произошла досадная оплошность. Директор, к счастью, сам был не из партийных выдвиженцев, а из трудяг-учёных. Он спокойно выслушал Семёна, потом вызвал одного из ведущих преподавателей и пригласил Фимку на собеседование. Семён при этом бегал по периметру школьного коридора, как бык перед корридой. Собеседование длилось с добрый час, после чего отец был приглашён в кабинет, где директор сказал немного, но веско: «Невзирая на нарушение порядка сдачи и приёма вступительных экзаменов, мы, после дополнительного тестирования вашего сына, пришли к решению, что он достоин учиться в стенах нашей школы. А вы, юноша, — повернулся он к Фимке — постарайтесь в будущем не попадать в подобные ситуации. Больше собранности. В науке расхлябанность недопустима».

Внезапно пришла дурная весть из Харькова. Умер свёкор. Сенька поехал на похороны и отстоял мучительную мессу прощания с отцом.

Мать неукротимо рыдала, Семён недоумевал, сколько же в человеке может содержаться слёз? Ему даже стало нехорошо от зрелища этого неопишуемого горя. При жизни у родителей были очень невозвышенные отношения. Они всё время были заняты витьём семейного гнезда, любили делать запасы, в шкафах и буфетах скопились горы консервов, пачек макаронных изделий, сахара, бутылки с растительным маслом. Казалось, родители готовились к предстоящему голоду или, может быть, к многолетней осаде. От изобилия круп и всякой другой снеди в квартире стоял устойчивый запах бакалейного отдела, который вызывал у Сеньки нечто вроде удушья. Пока мать плакала над каждой вещью, перебирая бельё в кладовке, Сенька, как всегда, выбрал местечко у стены, где сел, откинув назад голову и закрыв глаза. Спыхватываясь, мать смотрела в сторону сына и голосом, в котором стояли слёзы, спрашивала: «Сыночек, ты себя хорошо чувствуешь?» — «Нормально», — отвечал Сенька. Он подумал было предложить матери ехать с ним, но сразу вспомнил, как Нинка с ненавистью говорила о свекрови, обвинявшей её в Сенькином инфаркте, да и двухкомнатная квартирка не располагала к совместному проживанию. Вот так, пробыв у матери неделю, Шульц вернулся в Питер один.

На дворе уже стояла осень 1990 года. Обстановка в стране накалялась. Коммунисты рвались к реваншу, всякого рода патриоты грозили евреям немедленной и мучительной расправой. Производство падало. Шульц предложил Нинке поскорее купить на образовавшиеся накопления шубу, потому что скорость инфляции возрастала с каждым днём. Нинка сказала, что шуба ей ни к чему, а вот надо бы купить Машеньке электроорган. Сказано-сделано, через неделю купили инструмент. Да и кому в стране, которая не знает, что завтра будет жрать, нужен электроорган? Деловые люди кинулись скупать дачи и квартиры, потому что золото, серебро, драгоценные камни исчезли с прилавков. Люди со скромным достатком копили по домам крупу, сахар, сухое молоко и консервы. У Нинки хозяйство всегда было сшито на живую нитку; есть, чем заморить червячка — ну и ладно. Не в еде счастье. Правда, водку по талонам она получала исправно. Водка, она для радости и нежности чувств.

Сенька уже оставил мастерские и пошёл на посредническую фирму заместителем директора. В выходные дни несколько раз выходил на шверботе с парусом, но вскоре это ему наскучило. Просто плыть по заливу, равно как и просто ходить гулять он органически не мог. Ему нужно было непременно куда-то стремиться, преследовать цель. Вот и швербот ему был интересен, пока он его строил. Теперь он мастерил вместе с Фимкой ножную клавиатуру для электрооргана и планировал

в недалёком будущем организовать выступление дочки за границей. Машенька делала всё большие успехи в музыке, а Нинка висела над ней коршуном, иногда превращаясь в ласковую голубку, приносящую милой доченьке шоколадки. Впрочем, у Фимки оставалось всё меньше времени на домашние дела. Он шёл одним из первых в школе, выигрывая математические и физические олимпиады, учителя предсказывали ему светлое будущее. Если в шестом классе ему ставили три по прилежанию, то теперь у него в старой школе стояла бы прочная и непоколебимая двойка. Он ходил в школу с одной общей тетрадью на сто страниц, где мирно сожительствова­ли все школьные дисциплины, зашифрованные в виде закорючек, которые мог разобрать только Фимка.

После смерти отца Сенька вскоре обменял квартиру матери в Питер и теперь каждый вечер покорно стоял, прижав трубку к уху плечом (телефоны помогла установить фирма) и слушал бесконечные lamentации матери о её тяжёлой и одинокой жизни, односложно отвечая на её тревожные вопросы.

Чем больше накалялась обстановка в стране, тем решительней Шульц настаивал на отъезде. Узнав случайно от Нинки, что Фимка влюбился в девочку из класса, а она уехала с родителями в Америку, Шульц сказал за столом сыну: «Собирайся и поезжай в Америку, пока пускают, а мы потом к тебе приедем». Фимка согласно кивнул, хотя на всякий случай летом 1991 года он закинул свои документы с регалиями за победы на олимпиадах в Университет и Политех и получил приглашение на учёбу. Однако Шульц уже спланировал поездку в Америку на октябрь, получил приглашение от друзей в Атланте, оформил визы на себя и сына и купил билеты. В России оставались мать и жена с маленькой дочкой, что, видимо, притупило бдительность контролирующих органов и дома, и за бугром. Как раз в день отлёта путчисты захватили власть, принялись деятельно готовиться к расправе над демократами и в качестве одной из первых мер стали закрывать аэропорты, чтобы никто не ускользнул. Буквально в последний момент Шульц протолкнул огромный чемодан со всем необходимым для жизни (на необитаемом острове) в багаж и повёл сына на выход к рейсу Петербург — Нью-Йорк. Как ему удалось отправить сына, а самому остаться в Питере, так никто и не узнал, поскольку Шульц умел держать язык за зубами как никто другой. Теперь у него созрел план сделать достаточно валюты к моменту, когда Фимка укоренится в Америке, и двинуться туда по его вызову всей семьёй.

Он был уверен в сыне и теперь сделал ставку на дочь. «Если человеку дан талант, то нужно дать таланту простор. А простор — это прежде всего свободное пересечение всех на свете границ», — думал он.

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР
НАД ГЛАЗОМ ПОЗНАНЬЯ

ИГРА СЛОВ

Когда вертась
не вызревают слоги
в классические древние эклоги
а так дразнясь
совсем наоборот
встрывают в рваный
неочікуваний
и канувший в нирвану
праздный рот
язык шутя
по нёбу их катает
в слова смыкает
режет
размыкает
и наслаждается
обманчивой игрой
в которой смыслы
прячась
выплывают
и выливаются
в осознанный покой
преодолев кульбиты и зигзаги
на том клочке
нескомканной бумаги
случайно припасённой —
под рукой

АКВАРЕЛЬ

Бабушке

Над головою акварель
затон
и гладь спокойной речки
пастушья слышится свирель
и хруст соломы в зеве печки
в которой важно чугунок
бока привычно раздувает
и восхищённо на порог
семью к обеду призывает
а в чугунке томится чолнт
который взялся ниоткуда
и к берегу приставший чёлн
несёт осеннюю простуду
которая уйдёт к утру
хромая напрочь от калитки
и день взошедший на юру
нас осенит любви избытком
в саду что ты назвала — рай
и розы плыли вдоль забора
и гармонисту жест — играй
был повеленьем до упора
доколе сгинувшие дни
мне в снах даруют возвращенье
в недогоревшие огни
и недовызревшее мщенье
за то что жизненный уклад
был злою силою разрушен
за то что тел зловещий склад
убил отверженные души
я счастлив — ты не дожила
твой рай земной навек потерян
но есть любовь
её крыла
над нами
их размах немерен

* * *

Январь на исходе
и солнце во мгле
лихая погода
стоит на земле
спускается холод
не тают снега
и лёд отражает
в себе облака
замёрзшая речка
пытается течь
из губ без осечки
плескается речь
о том что природу
не надо пасти
февральские роды
назрели — пусти
январь — на закланье
и в сумраке новь
над глазом познанья
приподнята бровь

* * *

Устали глаза за очками
устали очки на носу
и рваные строки клочками
плывут по листу на весу
парят на экране созвездья
мерцают нездешним огнём
то сполохом зори предвестья
то серым осевшим плетнём
то садом уставшим от яблоч
шелковиц
малины и груш
свободным от химии ядов
сыгравшем на радости туш

то речкой текущей степенно
уктавшей бок в камыши
настроившей благословенно
рояль отдохнувшей души
я клавиши трону от лени
арпеджио вихрем взлетит
и слёзы ко мне на колени
сползут по румянцу ланит

* * *

Мы все от Адама и Евы
и значит
еврейская кровь
течёт в каждом парне и деве
даруя и жизнь
и любовь
зачем же вы предков согнали
с их обетованной земли
и в чуждые земли изгнали
где после принять не смогли
два тысячелетья гонимы
теряя дедов и детей
мы всё же незримо хранимы
и живы до нынешних дней
напрасно копили вы злобу
и палец воздев на курок
из сердца исторгнувши Бога
судьбу испытали не впрок
холоп
испросив подаянья
у князя
на гнусность горазд
молись о лихом покаянье
и Бог — отлучённый —
воздаст

Михаил ГОНЧАРОВ

НОВЕЛЛЫ

ОТЕЛЬ «ЛЕОНАРДО»

Не поеду я больше в мёртвоморские отели. По крайней мере, в ближайшие год-два — точно не поеду. Там коммунизм, царская пятиразовая жрачка, бесплатная выпивка двадцать четыре часа в сутки, и, в конце концов, нужно же было показать маме с папой, что такое цивилизованный капитализм. Но это же совершенно невозможно, этак и лопнуть недолго. Жрачка — выпивка — бассейн. Бассейн — выпивка — жрачка. Выпивка, бассейн, жрачка. Господи, если таков рай для праведников, то я предпочитаю быть грешником. Праведники, правда, на то и праведники, что вкушают яства умеренно, а потом, подкрепившись, начинают тусоваться в великих потусторонних библиотеках, где собраны все шедевры мировой литературы. Не знаю, не знаю. Я великий грешник, ибо искренне не понимаю, как можно тусоваться на интеллектуальные темы после такой жрачки. Я чувствовал себя каким-то Собакевичем на приёме у губернатора. Нет, на завтраке у полицмейстера. Я уже забыл, у кого там конкретно собирались мёртводушечные герои. К исходу вторых суток мне уже не хотелось не только жрать, мне уже даже и выпить не хотелось — можете себе представить? Еле живой после ресторана, я доходил до бассейна, с кряхтением взгромождался на лежак и открывал Умберто Эко. И чувствовал, что не в силах сосредоточиться на открытой странице. Я испытывал сильнейший позыв ко сну и с большим трудом лупал глазами по сторонам. Тогда я сползал со своего места и погружался в воду, чтобы немного освежиться. Божечка мой, как эти праведники в состоянии при таком раскладе сидеть в раю вечность, — бурчал я под нос, — ведь я пришёл в совершенно животное состояние уже на вторые сутки. Я вылезал из воды и тащился к своему месту под тентом. В голове не было никакого Умберто Эко, в голове бродили не имеющие никакого отношения к Эко литературные ассоциации: типа, я — зверь, именуе-

мый кот. Почему кот? К чему — кот? При чём здесь кот? К тому, бормотал я, что до кормления он издавал звуки противные, а после кормления уже никаких звуков не издавал, а только лупал глазами. Как я. И вылизывал шерсть. Я скоро тоже буду вылизывать шерсть. Потому что я дошёл до скотского состояния. Я открывал рот, из него свешивался длинный розовый язык, и я начинал пищать и мурлыкать. От меня шарахались. У меня не было сил объяснить соседям, что просто я лишился потенций для членораздельного выражения своих чувств. Я жалобно пищал и смотрел по сторонам. От меня отодвигались. У меня не было сил закрыть рот. У меня не было сил встать. У меня было не больше сил, чем у вымершей стеллеровой коровы, которую вытащили на сушу. Остатки мыслей бездумно бродили в голове, как обезумевшие тени в царстве Аида. Они натыкались друг на друга и не узнавали, с кем имеют дело. Логические цепочки ассоциаций — хлеб писателей, поэтов, мыслителей и теологов — разомкнули свои связи. Ы-ы-ы-ы-ы-ы, говорил я тихо и добавлял — Ма-ма. Одна из последних мыслей на исходе того дня связала моё небытие с понятием «элои». Кто такие элои, вяло удивился я сам себе. Потом на память пришло второе слово — «морлоки». Минут через пятнадцать я понял, что я — элой, что так раскармливать свои стада могут только морлоки. Ещё минут через пять я соотнёс оба слова друг с другом и понял, что напоминаю сам себе строчку из Уэллса — о безоблачном времяпровождении выродившегося человечества в восемьсот с каким-то тысячелетии нашей эры. Как безоблачен был их день, — пробормотал я, тупо глядя на голубую воду бассейна — как день скота, пасущегося перед бойней. Тут я вспомнил, что пришло время закапать глаза. У меня пять сортов глазных капель, и я обязан капать их в определённой последовательности. Хрипя, я перевалился через свой живот и дотянулся до сумки с бутылочками капель. В последнее время я стал чувствовать странное неудобство, когда надеваю солнцезащитные очки. Непонятно, в чём тут дело, бормотал я, закапывая, щурясь, альфаган, глаутан и прочий косопт. Барон я Апельсин этакий, бормотал я, промаргиваясь после капель. Ещё немного (бормотал я), и передвигаться я смогу лишь при помощи тачки, на которую взгромоздью свой живот, и которую будет двигать этот... тряпичник. Как его звали-то? Господи, уже и это забыл. Папа Карло, что ли? А! Фасолинка, кажется. Мистер Фасолинка. Или нет? Ещё был Лук Порей, на его усах жена вывешивала сушиться бельё. Герцог Мандарин ещё был, скотина этакая. Мне больше нравится барон Апельсин. Он чем-то похож на Портоса... При чём здесь Портос?

— Дяденька, дай подержаться! — услышал я звонкий девичий голос и открыл глаза.

Рядом с моим лежаком стояли две симпатичнейшие девицы лет семнадцати от роду. Я сразу же увидел себя со стороны — гора жира и мяса, полуживой кит, втащенный на палубу траулера перед разделкой туши. Я задвигался, стараясь втянуть живот и расправить плечи. Чего они попросили? Поддержаться... Поддержаться? За что поддержаться?!

Я хрюкнул и сделал неуклюжую попытку привстать.

— Да не надо вставать, сказала одна из девиц, — мы так подержимся, всё о-кей.

Они так подержатся, медленно проявилась мысль, не надо вставать. Господи, что это такое? За что они подержатся? Я беспомощно хрюкнул ещё раз и затравленно огляделся. Никто на нас, кажется, не обращал внимания. Может, вправду дать им поддержаться? Почему бы одному благородному дону не дать поддержаться двум благородным донам... Тьфу, что за... Расслабься и получай удовольствие, сказала вторая девица. Я задвигался по лежаку. Мне было очень неудобно. С одной стороны, умом я понимал, что я — мужчина видный, отчего бы посторонним девицам не воспылать ко мне неожиданной страстью... С другой стороны, это было как-то чудно: ну, не настолько же я Аполлон Бельведерский, что двум совершенно незнакомым девицам, втрое младше меня, которые и видят-то меня впервые в жизни и ничего про меня не знают, вдруг взбрело на ум хватать меня, и не в укромном уголку, и не ночью, а прямо под полуденным солнцем, на берегу многолюдного бассейна... Что за чушь, нимфоманки они, что ли? Надо с ними поосторожнее, а то ещё поднимут визг, и меня арестуют... За приставание к несовершеннолетним... Господи боже мой! И меня с позором уволят с работы, на которой я честно отработал вот уже двадцать лет! И лишат пенсии и выходного пособия! Двадцать лет — псу под хвост! И Софа! Самое главное-то я и забыл! Где-то рядом, на недалёком лежаке, должна лежать моя законная жена! Какой ужас! Мне ни за что не удастся доказать ей, что я тут ни при чём!

— Софа, — запищал я и стал затравленно озираться по сторонам. Мне никак не удавалось встать. Девицы одновременно протянули ко мне руки. С задавленным воплем я заколыхался всем туловищем, извиваясь на лежаке.

— Держи его крепче, — быстро сказала грудастая блондинка.

— Ишь ты, какой шустрый дяденька, — ответила худощавая брюнетка, и они схватили меня за руки с двух сторон.

Я завыл и машинально закрыл глаза. Я почувствовал, что меня ухватили за ресницы...

— Вот, — удовлетворённо заявила блондинка, — я такого ещё в жизни не видела!

— Да-а-а-а... — отвечала брюнетка.

Зажмурившись, я трясся как студень.

— Эй, — деликатно произнесла первая.

Меня похлопали по облупившемуся плечу.

— Всё уже? — тонким голосом, жалобно спросил я.

— Ну да... — ответили мне.

— Так быстро? — поразился я и приоткрыл левый глаз. — Может, Софа не успела заметить... Быстрые они какие, ишь ты... успели...

— Какая Софа? — удивились девицы.

Я приоткрыл второй глаз. Солнце брызнуло мне под веки. Девицы одновременно протягивали ко мне карманные зеркальца.

— На! — сказала брюнетка.

— Чего это? — испуганно, но уже с некоторым облегчением, чувствуя, что всё окончилось сравнительно благополучно, спросил я.

— Да посмотри же, какие у тебя ресницы! — сказала блондинка.

Я тупо посмотрел в зеркальце. Сначала в одно, потом в другое.

И тут я всё понял. Я вспомнил, как доктор, прописавший мне разнообразные капли для глаз, сказал ещё полгода назад, что побочным, но приятным действием траватана, глаутана и альфагана, если их капать одновременно, является ускоренный рост ресниц, а они у меня и так не короткие. Я гляделся сразу в два зеркальца. Ресницы, на которые я никогда не обращал особенного внимания, выросли сантиметра на два и изгибались к бровям. Я лупал глазами.

— Во! — сказала брюнетка. — Как Мальвина!

— Как Пьеро, — поправила её блондинка.

— Не, Пьеро был дурачком, — возразила брюнетка, — а этот дяденька не производит впечатления дурачка... Вишь, какую умную книжку читает... — и она указала на Умберто Эко, от стыда свалившегося под лежак. — У Дуремара тоже глаза были красивые, — задумчиво добавила она.

— У Басова, а не у Дуремара! — возразила первая.

Мне удалось сесть. Пыхтя, я перегнулся через живот и стал шарить ногами под лежак в поисках сандалий.

— Дуремар!

— Басов!

— Мальвина!

— Нет, Пьеро!

— Что вам нужно от моего мужа?! — раздался пронзительный голос моей жены. Я втянул голову в плечи.

— У вашего мужа очень длинные ресницы! — приветливо сказала блондинка, — я впервые такие вижу!

- Мне бы такие, — добавила брюнетка.
- Я нашарил, наконец, сандалии.
- Это мой муж, вот что!
- Ну и хорошо...
- Конечно, хорошо! А вот вы кто такие?
- Басов! Дуремар!
- Нет, как у Мальвины!
- Как у Карабаса-Барабаса, — сказал я, с натугой оторвал зад от лежака и потащился на обед.

ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ

Когда мне было лет десять, папа отвёл меня на фильм «Туманность Андромеды». Это было до того, как я прочёл книгу. Я был совершенно поражён железной звездой, электрическими медузами и идеей Великого кольца, по которому миллионы лет шли закодированные сообщения от галактики к галактике. Это хорошо, что я посмотрел фильм, потому что сразу после него кинулся читать роман. Даже самые неудачные фильмы — хорошо, что я их смотрел, потому что они обычно являлись стимулом прочитать книжку, по которой фильм был поставлен. Обычно книжки были лучше экранизаций.

Рассуждения героев на экране о глобальных проблемах человечества, произносимые с самым серьёзным видом и замогильными голосами, как-то проходили мимо моего сознания, и при чтении я их тоже всегда пропускал, и всё время возвращался к двум-трем эпизодам, поразившим моё воображение — к пленению звездолёта притяжением гигантской планеты и к танцу на экране голой красной девицы из системы Эпсилон Тукана. Сперва я не понимал, с чего эпсилонтуканцы должны танцевать голыми, и вообще с чего они должны танцевать, отправляя за миллиард парсеков наиважнейшее сообщение братьям по разуму. Когда мне исполнилось лет двенадцать, мне уже понравилось, что они танцевали голыми. К сожалению, ни в фильме, ни в книге никаких подробностей в этом отношении не приводилось. Земляне пялились на послание безо всяких эротических переживаний, чего нельзя было сказать обо мне. У меня вообще, если хотите знать, две книжки, два эпизода вызвали эротические переживания в том возрасте: танец голой инопланетянки у Ефремова и ещё сцена соблазнения Гуинплена герцогиней в её спальне. Последнее настолько поразило меня, что я устроил у себя дома

избу-читальню и зазывал одноклассников читать Гюго, обещая им потрясную сексуальную сцену из этого толстого романа. Мои одноклассники, такие же половозрелые лоботрясы, тяготившиеся своей невинностью, приходили ко мне домой и старательно читали Гюго часами, добираясь до сокровенного эпизода. Читать приходили даже девочки — отличницы и двоечницы. Это были ещё те времена, и польза от такого чтения, по крайней мере, была налицо: мы знакомились с шедеврами мировой литературы — неважно, что служило стимулом. А стимул, надо сказать, был мощный. Точно таким же образом мы изучили все альбомы по искусству, находившиеся в библиотеке моих родителей — и вы сами понимаете, что мы в них искали. Важен результат: к формальному совершеннолетию весь наш класс был вполне подкован не только в литературе, но и в классической живописи, и в скульптуре.

Когда, уже взрослым, я приезжал в гости к родителям, мы встречались с одноклассниками. Среди давнишних посетительниц моей домашней избу-читальни были две девочки, одна из которых впоследствии стала профессором структурной лингвистики, а вторая — кладовщицей винного магазина. Сидя за бутылкой, мы вспоминали наши книжные вечера, когда из звуков в квартире слышен был только шелест переворачиваемых страниц. Все искали в них одно и то же. Галка-профессорша, без закуски хлопнув третью рюмку, призналась в том, что, читая у меня дома соответствующий эпизод у Ефремова, её в детстве больше всего интересовал вопрос — тряслись ли груди во время танца у голой краснокожей эпсилонтуканки. Вот, — взволнованно говорила она, — с той звезды послали видеоролик, который шёл до Земли хрен знает сколько тысяч лет («все, кого мы видим на экране, — раздался суровый голос Дар Ветра, — давно уже мертвы»), и они танцуют голыми, и лучшие светила научного мира нашей планеты взирают на этот танец и ломают голову над тем, какой глубокий смысл вложен в него, такой торжественный, понимаете, момент, контакт двух разумов, — а у меня в голове одно: вот она танцует звёздный танец, и у неё прыгают груди. Вот чушь-то, а? — Ничего не чушь, — сказала Валька-кладовщица, — а я всегда думала, было ли надето бельё под ночной рубашкой у Гуинпленовой герцогини, когда она его соблазнила; я работаю с работягами и алкоголиками, и иногда, под настроение, цитирую Гюго целыми страницами, и наши работяги меня страшно за это уважают, спасибо тебе, Миша. И профессорша с кладовщицей стали спорить, было ли надето бельё под пеньюаром герцогини и тряслись ли груди у звёздной инопланетянки, — оказалось, они помнят дословно целые главы обоих романов, — я лишь головой вертел.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН
АМЕРИКАНСКИЕ ИСТОРИИ

ЧАШКА КОФЕ

Моё внимание привлекал бездомный, который сидел прямо у входа в наше здание. Это был мужчина среднего возраста, заросший, неряшливо одетый, молчаливый. Он ни у кого ничего не просил. Просто возле него стояла пластиковая кружка, куда из милости бросали монетки.

Это была моя первая работа в Америке. В компании я пробыл уже месяцев шесть. Должность клерка-оператора была скромной. Многого я ещё не знал, и дни проходили напряжённо: компьютерные программы, разговоры по телефону, посетители. Мой «эмигрантский» английский был сносным, но всё равно держал в напряжении.

В обеденный перерыв можно было расслабиться. Я прогуливался по улицам, так как компания располагалась в центре города. Свой завтрак я съедал на ходу. Как раз в это время я и встречал бездомного. Обычно выносил ему чашку кофе и изредка делился бутербродом. Что-то тревожило меня в его постоянном присутствии: неустроенность жизни и борьба за существование. Общество, к которому я сам так стремился приспособиться, выкинуло бездомного на улицу. Я понимал, что обстоятельства могут быть разными — семейные трагедии, наркотики, психические болезни. Мы обменивались с ним взглядом, я здоровался, но никогда не пытался заговорить. Он принимал моё скромное подаяние без всякой реакции. Потом в суете дня я забывал о нём, а вскоре привык к его молчаливому присутствию на ступеньках здания. Так же к нему относились и другие сотрудники нашего учреждения. Только иногда, по вечерам, в кругу семьи, когда передавали сводку о плохой погоде, я думал о «нашем» бездомном.

В один прекрасный день в компании начали развиваться события. Пришло время подписания трудового договора. Администрация и профсоюз приступили к переговорам. Они были безуспешными. Компания

бурлила. Сотрудники начали готовиться к забастовке. Все шушукались по углам. Для меня всё это было незнакомо: я ни разу не участвовал в забастовке. Я был членом профсоюза, и меня пугала перспектива увольнения.

Переговоры не дали результатов. Началась забастовка. У входа в здание появились пикеты с транспарантами. Нас разбили по графику на дежурства. Жёны привозили горячую еду, в нашу поддержку сигналили проезжающие автомобили, мы раздавали листовки прохожим. Сквозь строй, стараясь не встречаться с нами глазами, проходили представители администрации. Их провожали едкими, но не агрессивными насмешками. Они не отвечали. Так продолжалось несколько дней.

Наш бездомный оказался как бы между пикетчиками и администрацией — он продолжал сидеть на верхней ступеньке у входа в здание. Казалось, что происходящие события его словно бы и не коснулись — всё та же пластиковая кружка у ног, всё то же безразличие во взгляде. Время от времени администрация заказывала себе сэндвичи или пиццу. Посыльные привозили еду, но их не пропускали через пикеты. Кто-нибудь из начальства выходил наружу и принимал пакеты.

Во время одной из таких сцен, то ли чтобы досадить нам, то ли чтобы подчеркнуть наше бесперспективное положение, представитель администрации одну из коробок с пищей поставил перед бездомным и исчез.

Пикеты замерли: все уставились на бездомного — возьмёт или нет. Мы понимали, что он-то по-настоящему голоден. Но у каждого из нас внутри было тайное желание, чтобы он отказался от коробки. Никто не проронил ни слова. Все наблюдали.

Напряжение ситуации передалось и бездомному. Он стал нервничать, смотреть то на еду, то на нас. Дотронулся до коробки, видно, она была ещё тёплая, и он задержал на ней ладонь. Я впервые увидел, что бездомный засуетился, оживился, что-то стал бормотать. Он приподнялся, у него был взгляд обдумывающего ситуацию человека. Толпа у здания смотрела на него, а он — на неё. Бездомный, не дотронувшись до пакета, стал медленно спускаться по ступенькам к толпе. Походка у него была неуверенная, то ли от происшедшего, то ли оттого, что засиделся в одном положении.

Люди радостно и возбуждённо зааплодировали, зашумели. Наши жёны кинулись его кормить. Он как бы перешёл на сторону бастующих. Мы впервые почувствовали, что победа возможна. Некоторое время бездомный пребывал в толпе, а потом исчез.

Через несколько дней забастовка закончилась. Администрация пошла на компромисс. Профсоюз всё-таки добился скромных уступок. Но наш бездомный навсегда исчез. Иногда, скорее по привычке, я ещё вспоминал о нём, но история эта совсем забылась.

Как-то во время обеденного перерыва и прогулки по городу ко мне подошёл прилично одетый молодой человек. Я подумал, что он хочет что-то спросить. Но молодой человек неожиданно улыбнулся, протянул чашку кофе и сказал: «Это для вас, я знаю, вы любите две ложечки сахара». Только по взгляду я узнал нашего бездомного. Я поблагодарил его, и он снова смешался с толпой.

ПИСЬМО

... **М**ы с тобой сейчас находимся за тысячи километров друг от друга. Ты разговаривала со мной в последний раз таким голосом, которым ты разговариваешь со всеми. Или мне просто показалось? Или это было во сне... Хотя сон иногда это явь, а явь иногда это просто сон. Не буди меня, пожалуйста. Ты это часто, слишком часто делаешь — в письмах, телефонных звонках, ревностях и размолвках. В эти моменты я чувствую себя биороботом, но из тех роботов, которые постепенно превращаются в человека.

Новостей почти никаких. Жду твоего приезда. Да, чуть не забыл. Позавчера пригласили на фуршет. Ничего интересного. Какая-то мелюзга околичивалась: журналистики, деловые людишки без дела, «фирмачи» и прочая дрянь, в общем, шпунтики-винтики. Но... Как всегда «но». Пара людей солидных и весят на рынке довольно прилично. Иду я с бокалом шампанского и кого, ты думаешь, встречаю? Кольку Зеленюка. Ну и сука! Делает вид, что не узнаёт. Но не так, чтобы совсем не узнаёт, а как бы в пол-оборота. Получается, что я к нему сам подкатываюсь. А что мне делать было? И костюмчик на нём и галстучек — сплошной Диор. И так размашисто: «При-вет! Ско-лько зим, ско-лько лет!» Гадина, сардинка, а глаза пиявочные, так и сосут тебя всего. Я и присасываюсь, делаю вид, что счастлив встрече. А он меня прощупывает — сколько стою. Ну, я-то умею фигню заламывать, несу что попало.

И тут кто, ты думаешь, подходит к нам? Анька, помнишь в институте с четвёртого курса, белобрысая такая, а глаза рыбы, навывкате. Оказывается, они вместе. И он её представляет: «Познакомься, пожалуйста, моя Анастасия!» Только подумать, эта стерва — Анастасия! Я улыбаюсь во всю пасть, как ни в чём не бывало. Хорошо, что к дантисту успел до этого. Двенадцать штук за мостик!

Но успел, как чувствовал, что встречу этих прохвостов. А она, она, нет, ты себе не представляешь, она тоже вся в Диоре. А намазанная — вся по-французски. В общем, выглядит ничего, престижно. Я и хихикнул.

Комплиментик там маленький откинул, всё как полагается у приличных людей. Не лыком шит. И в разговоре вожу их вокруг да около. Зацепить-то как-то надо. Чувствую: она клюёт. Им, оказывается, консультант нужен. По искусству — хотя бы что-нибудь купить приличное в своё домище застрахованное. Я леску и натягиваю. Думаю, только бы не сорвалось. Тут меня понесло — философия, история, литература — полный комплект. Ну, в общем, адресами обменялись, мы с ней расцеловались. Я потом подумал, что день-то какой удачный! Ну вот, пожалуй, и все новости. Да что тут может произойти в этом жёлтом нью-йоркском аду. Ровно ничего нового. Сплошная мразь!

Котик, мой дорогой, я по тебе скучаю, киска. Ты мне сегодня снова приснишься. Приезжай скорей. Целую, обнимаю. Твоя канареечка.

АЛЬБИНОС

В фотоателье на одной из бруклинских улочек зашла молодая пара.
— Нам бы получить свадебные фотографии, — обратился парень к Феликсу.

— Квитанцию, пожалуйста. — Он ответил безразличным тоном, будто не узнал парня.

Тот тоже в свою очередь сделал вид, что не узнал его. Парня звали Марк. У них остались ещё не решённые детские счёты с давних времён. Марк с родителями приезжал как-то на летние каникулы из столичного Киева в их маленькое местечко под Житомиром с названием Славута.

Девушка протянула Феликсу бумагу и улыбнулась. Она нежно посмотрела на своего спутника. Девушка была грациозная, с тонкой талией, пышными каштановыми волосами над высоким лбом и изящным носом.

Ну и красавицу себе отхватил, решил про себя Феликс. Но сам оценил её профессиональным взглядом фотографа. Вот её улыбка говорит о том, что она тёплый и хороший человек. Но... ей ничего не стоит легко и невзначай, а такие случаи всегда представляются в нашей жизни, расстаться с преданным и близким другом. Даже без причины... по прихоти. И внешняя её отзывчивость может обернуться эгоистичностью и холодностью. К тому же она показалась ему расчётливой.

Да, это тебе не «на сухую клацать», — подумал Феликс. И вспомнилась ему обида, впрочем, детская история...

Марк был старше десятилетнего Феликса, может быть, на год или два. В детские годы это большая разница. Приезжие снимали квартиру в соседнем дворе у дядьки Петра.

Михаил ХАЗИН

ИЗБРАННОЕ

СОКРАТ

Созвездиям, рассветному лучу,
Прохожему в изношенной хламиде,
Любой травинке я сказать хочу:
Заговори, чтоб я тебя увидел.

А мне, сказать по чести, повезло:
Со мною говорят земля и море,
Со мною говорит добро и зло,
Со мною радость говорит и горе.

Любовь моя, где заблудилась ты?
Не будь, родная, на меня в обиде.
Приди ко мне — из тайны, из мечты.
Заговори, чтоб я тебя увидел.

Созвездиям, рассветному лучу,
Прохожему в изношенной хламиде,
Любой травинке я сказать хочу:
Заговори, чтоб я тебя увидел.

«IT'S ME, O LORD»

Отчитаться о жизни наступает момент,
Путь свой земной итожа.
Художник-безбожник Рокуэлл Кент
Написал «Это я, О, Боже».

БУМАЖНЫЙ МОСТ

Письмо любви моей,
Лети как певчий дрозд,
Лети за семь морей,
Письмо, бумажный мост.
Бумажный мост прочней
Опор, настилов, плит.
Объятия ночей
Бумажный мост хранит.
Бывает, лишь усну,
Бумажный лист ведёт
В далёкую страну,
А может, в дальний год.
Вся жизнь — бумажный мост,
Соизмеряй свой шаг.
Построчный путь не прост
По вехам из бумаг.
Будь крепок подо мной,
Терпи мой вес, ходьбу,
Бумажный свиток мой,
Развёрнутый в судьбу.

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

Люде

Бог, создавая мужчину,
Творенье своё любя,
Ваял как небесный скульптор,
Натурщиком взяв Себя.

Но женщину как Он придумал?
Нежность её, доброту?
В ней воплотил Всевышний
Божественную мечту.

ЖИЗНЬ

По земным путям, законам
Пробегу в кроссовках стёртых —
От вселенной не рождённых
Марш-бросок до царства мёртвых.
В этой тряске, в этой гонке
Было всякое, поверьте.
Жар любви, ожоги горя,
Праведники и подонки,
Краткое моё бессмертье.
Что сказать прощальной тризне
С горьким привкусом угарным?
Любопытно в этой жизни.
Есть за что — быть благодарным.

ФАЛЬШИЗМ

От сердца слово — не обманет,
Горит в нём правда, как запал.
Я помню, старый молдаванин
Врагов *фальшистами* назвал.

Смешное вроде искаженье,
К словам из книжек не привык,
Но ценное изобретенье
Создал неграмотный мужик.

Глубинный смысл почувал в слове
Старик, растивший в поле рожь.
Он понял, что в его основе —
И кровь, и смерть, и фальшь, и ложь.

Нина АБРАМОВИЧ
ДОМ ДЛЯ МАГДАЛЕНЫ

У ЛЕНИНА ГУБА НЕ ДУРА!

Двухэтажный поезд. Скоростной. Белый крест на красном фоне. Уютные сиденья. Шикарные виды из окна. Длинное озеро, голубое, разливное. Стайки парусников, каноэ, стройные люди, стоящие с вёслами на Сап бордах. Судя по Гугл-карте, озеро Цюрихское. А по берегу озера — домики, домики, аккуратные, сказочные, с зелёными лужайками, виноградниками... Счастливые люди живут в этих домиках, под небом чистым, мирным, над которым никогда не летали крылатые ракеты! Как бы я хотела жить в таком!

Наш поезд прибывает на главный вокзал Цюриха. Zurich HB. Я с сомнением достаю маску, так не хочется её пялить на лицо. Гляжу из окна, а народ-то без масок. Выхожу из вагона. И сразу ощущаю свободу. Умиротворённость. И я швыряю маску от надоевшего Ковида в урну. Туда же летит и мюнхенская тревожность вместе с их жёстким порядком.

И меня наполняет тёплое чувство. Наш Шарик пока ещё крутится! Рано ему падать в тартарары. И мои все трудности остаются там, в Мюнхене, в трёх часах езды скоростного поезда швейцарской железной дороги, называемой СББ. Меня окутывает атмосфера безмятежности. Покоя. Идиллии. Будто я дома, под своим лебяжьим одеялом. И войны нет. И надо мной ракеты не летают. Осматриваюсь. Огромная крытая платформа с шатром из стекла и металла. Величественный вокзал. Стиль, похоже, неоренессанс. И поезда дальнего следования, как дрессированные змеи, вытянутыми мордами покорно упёрлись к причалу платформ. Платформ много. Оглядываюсь. Платформа номер 3 — слева. Платформа номер 18 — справа. Лишь позже узнаю, что их на главном вокзале Цюриха ещё три уровня. Это подземные платформы. Zurich HB — творение архитектора Якоба Фридриха Ваннера. А я стою на наземной, куда при-

Продолжение. Начало в №4 (36) 2025

бывают международные поезда. Народ несуетливый, тихий. Всё как-то по-домашнему! Откуда-то струится странный дух. То ли кислая сладость. То ли жжёные листья. Дух марихуаны. Мой нос за весь период беженства в Швейцарии будет часто улавливать его. За столиками кафешек счастливые люди. Мой взгляд цепляет сцену. Вот двое очень респектабельных мужчин. О чём-то беседуют. И неспешно делают дорожку из белого порошка. По центру платформы — стайка волонтеров, закутанных в жёлто-голубое полотнище. Лариса — написано на бейджике очкастой девушки. Наши люди! Ура! Я под защитой волонтеров. Лариса просит меня подождать десять минут — сейчас приедет поезд с беженцами из Вены. Лариса из Петербурга, в Цюрихе живёт давно, выйдя здесь замуж. Она волонтерит на вокзале с момента открытия Швейцарии для беженцев. — Как тут у вас? В Швейцарии. Лучше, чем в Германии? — пристаю я к Ларисе. — Тут больше свободы! Страной правит разум. — А счастье найти тут можно? На Цюрихском озере! — улыбаюсь я.

— У вас тут будет всё. И крыша над головой. И еда-одежда. И медстраховка. И пособие. А кто-то, может быть, останется здесь навсегда. Вы, украинки, красивые и бойкие. И у вас ещё будет свой домик на Цюрихском озере! — подмигивает мне Лариса.

А вот и венский поезд, какой-то антикварно-игрушечный, синего цвета. наших людей видно сразу. Лица совершенно другие, чем у европейцев. Простые. Беженцы выглядят утомлёнными и любопытными. Они идут на волонтеров в украинских флагах. Вместе со мной собралось человек десять. Лариса провожает нас на трамвай номер 4. Она объясняет, что выходить нам на остановке Тони-Ареал и машет на прощание рукой. Ждём трамвай. Голубое табло с бегущей информацией показывает, что наш трамвай номер 4 будет через шесть минут. Я смотрю на город. Цюрих передо мной. Он сказочный! Роскошь и умиротворение. Что ждёт меня здесь? Загадочная страна, альпийские горы, зелёные луга, коровы с колокольчиками, шоколад с орехами. Новый дом! Впереди жизнь! А сзади пылающая в огне войны страна.

Около меня красotka с ярко-красными накачанными губами, чёрными длинными локонами. Штаны в обтяжку. Вся в золоте. Чисто наш вариант. Юля из Мариуполя. Разговорились. Она полицейская. — Когда россияне заняли наш город, они пришли в нашу полицию. Выстроили всех моих коллег, у стенки. Приказали выбирать — «за красных», или «за белых». Обещали оставить жизнь, если перейдём на их сторону. Часть наших сотрудников смирилась. А часть отказалась. Тех, кто отказался, было больше. Их тут же, у стены, и расстреляли. Я в этот день была на больничном, — рассказывает Юля.

А вот и наш трамвай. Двери открываются, ступеньки выдвигаются. Мы с сумками заваливаем внутрь. Мы разительно отличаемся от местных. Осматриваюсь. Стайка импозантных мужчин в костюмах. Держатся за поручни. Оживлённо и вполголоса общаются. Небось, банкиры. И, наверное, банкирам не зазорно передвигаться на трамвае! Парочка влюблённых, на задних сидениях, с фужерами, потягивают что-то цвета оранжевого неба. Девушки в центре вагона, ничуть не стесняясь, едят из бумажных стаканов. Мы продолжаем разговаривать с Юлей. И вдруг мужчина оборачивается. И на ломаном русском говорит.

— Вы из Украины? Беженцы? Из какого города?

— Я из Киева.

— Бабушка моей бабушки была из Киева. Я чуть-чуть тоже украинец.

И, вытащив цветную бумажку, похожую на рекламу, наследник киевских бабушек протягивает её мне. Я отказываюсь. Зачем мне реклама!

— Берите, берите! — и, сунув бумажку мне в руки, он выбегает на остановке. Я рассматриваю подношение. А это 50 швейцарских франков, которых раньше я никогда не видывала.

В Цюрихе, в миграционном центре Тони-Ареал, нас за один день регистрируют и дают статус С, временную защиту, на период войны. И я с радостью сдаюсь под покровительство Швейцарии.

А у Ленина губа не дура! Цюрих — это сказка! Пока нас разместили в роскошном отеле при Спа-курорте. У меня отдельный номер с прозрачным отсеком санузла, телеком на стене, с кондиционером. И с видовым окном. На город и горы этой необыкновенной страны. В душевой — эмульсии и кремы, махровый белый халат и тапочки. И раз в неделю в номер вежливо стучат и меняют постель. Еда в прекрасном ресторане на первом этаже. Бесплатная симка Swisscom, по которой можно звонить в Украину и по всей Европе, для связи с родными. И бесплатные туры по Европе. На три месяца.

Короче, разрешите мне побалдеть, после бомбёжек, страшных ночей Киева и трудной эвакуации.

Грохнуло рядом. И мы привычно вздрогнули. Но это официант уронил поднос.

Официант, худой, вышколенный, в белоснежной рубашке, и весь такой учтивый, едва скрывает удивление. Его глаза округлены, и он смущён. Наверное, никогда этот швейцарский кельнер не видывал таких клиентов в этом фешенебельном ресторане. Беженцы из разбомблённой Украины заполнили отель Спа-курорта «AIA» в сердце Цюриха. Дети, собаки, кошки, грызуны в клетках-переносках... Благородных лиц тут немного. Публика разношёрстная, в основном, босяцкая. Богатые,

как водится, в куче со всеми беженцами не живут. Они снимают жильё отдельно.

И я опять нахожу новых компаньонов эвакуации. Две светленькие женственные особы из Киева, с жёлтым игривым лабрадором по имени Лилька. Они мои соседи по Познякам. Таня и Лина. Таня — мать Лины. Мы пьём кофе на веранде отеля.

— ... А сколько изнасилований... Как только батальон чеченцев зашёл на нашу территорию, я сразу же и вывезла её из Украины. Я спасаю дочь от всяких животных... ещё ума хватает этим уродам всё это на видео выкладывать, — говорит Таня, утончённая, изящная, красавица писаная, с пышными волосами золотой пшеницы. Её дочь Лина — копия мамы. Она тут же, за столиком, с ногами, поджатыми на мягком кресле, неотрывно тыкает в телефон.

— Ну, да ладно... Чеченцы красивые мужчины... Мне они нравятся, — поднимает глаза от телефона Лина, поддразнивая мать.

— Дочечка моя, ну, зачем же ты так..! Я тебя люблю.

— И я тебя люблю, мамочка, — обнимает Таню Лина. И их пышные волосы золотой пшеницы смешиваются в один золотой стог. И жёлтый лабрадор по имени Лилька прыгает Тане на колени и обнимает мать и дочь двумя лапами. И зарывается мордой в ворох их чудесных волос.

Третью неделю мы в Спа-курорте «АИА». У каждого свой номер-люкс. Еды до отвала. В зале ресторана диваны с подушками, кресла. Лучшие места у стены. Там обзор хороший. Сидишь себе, жуёшь мюсли с орехами и малиновым йогуртом, наблюдаешь за соотечественниками.

Первым всегда заходит в столовую Виталий, красивый статный мужчина лет за 47. Он из Николаева. С подносом вкусняшек он садится у стены, на высокий длинный диван. Мужчин у нас мало, и потому Виталий объект восторга многих женщин. Наверное, из-за этого вид у него скучающий, деланно равнодушный. Глаза его умные. И возвышается он на диване, весь такой недоступный, будто орёл на вершине скалы. А орлы-то мух не ловят! Я, было, сунулась за его стол, с намерением чисто пообщаться с умным человеком, но он, не глядя на меня, буркнул, что место занято. И, точно, вскоре к нему присоединяется молоденькая обаятельная девушка с тарелкой загорелых круассанов и банкой мягкого шоколада. И скучающий орёл мигом превращается в хлопотливого воробья.

Среди беженцев очень разные люди. Много косметологов, парикмахерш, маникюрщиц, мастеров наращивания ресниц. Здесь есть и учителя, инженеры, врачи, научные работники, медики, люди без образования, художники, странная поэтесса Дарина, годков двадцати пяти,

с разноцветными чулками, как у сказочной Пеппи. Жёлтый и зелёный на длинных ногах. Она с ожесточением декламирует нам свои стихи. И к ней непонятно откуда приезжают разные женихи.

Дама с дочерью-подростком, из Чернигова, всё время плачет. Мужа её ранило и он, контуженный, лежит в госпитале. И она порывается к нему, но риск большой. Украина под бомбёжкой. А с нею дочь. И дама плачет.

По коридорам отеля бродит странная дева с малюсеньким ребёнком на руках. Это Полина из Винницы. Ребёнок её тоже странный. Завёрнут в одеяльце, с головой. Никогда не кричит и кажется, что он неживой. Полина всё время прижимает его к груди.

— Она безумная. И это не ребёнок. Кукла. А её ребёнка убило осколком ракеты. Прямо в коляске. Они гуляли на улице. И мать отошла к колонке, воды набрать, — поясняет Татьяна, чухая лабрадора Лильку за ухом.

Люди здесь всех возрастов. Но в основном, молодые мамочки с детьми. Есть беременные. Люди разного воспитания, разной культуры. Много крикливых, громких. Особенно среди молодых мамочек.

Недалеко от меня сидят две дамы. Обе блондинки. Мать. И дочь, хорошо за 40. Обе одеты во всё белое. Белые Дамы. Очень похожи друг на друга. Они всё время о чём-то щебечут между собой. И злыми взорами обжигают всех присутствующих. После трапезы Белые Дамы набирают тарелки круассанов с горкой и, прикрыв их салфетками, украдкой уносят в номер. Белые Дамы не одни такие. И я не въезжаю, в чём прелесть этого пресного и ломкого мучного изделия из слоёного теста французской кухни. Может быть дело в символе этой притягательной страны?

Официанты видят все эти манипуляции с круассанами. Но на их лицах вежливое бесстрашие.

Ко мне подсаживается серьёзная девушка Тамара. Она из Киева. Её муж Фёдор работает волонтером в центре немецкой гуманитарной помощи. Там, же, в Киеве. Тамара рассказывает, что продукты в центр приходят из Германии шикарные. Колбасы, мясо копчёное, разные консервы, паштеты, стужённое молоко, кофе, шоколад...

— Ой! А, как бы получить такую помощь моим, в Киеве? У них с едой совсем плохо.

— Да нет проблем! Мой Фёдор завезёт им коробку с едой. Давайте адрес.

Я пишу адрес. И телефоны Симы и Кошарика. И, секунду подумав, добавляю телефон Светки-соседки. Наверное, ей будет приятно получить от меня такую весточку. Я же тут в шоколаде купаюсь швейцарском. И пусть я хоть как-то помогу ей! Скрашу её жизнь шоколадом немецким, паштетом, колбасой... Пусть Светка погурманит со своим москов-

ским женихом Гарри. Тамара тут же набирает мужа Фёдора и договаривается с ним.

— К обеду завтрашнего дня ждите продукты, — уточняет по громкой связи Фёдор.

Я в эмоциях! Как здорово помочь моим, сидящим под бомбёжкой! Как они будут рады!

Звоню Светке-соседке, Симе, Кошарику, сообщаю об этом.

И, действительно, Фёдор привозит ящик с продуктами к обеду. И Светка искренне благодарит меня: за пачку вермишели, пакет муки, кило картошки, бутылку олиии — всё украинского производства.

— Не может быть! А, где немецкие продукты, блин! Где шоколад?

— Не было шоколада никакого. Это то, что нам привёз парень. Всё украинское. И на том спасибо!

— Как же так? Это же центр немецкой помощи! Гуманитарку везут из Германии!

— А ты с луны свалилась? Ты наших людей не знаешь! По телеку только и говорят про воровство гуманитарки.

И не только продуктов. Обмундирование, бронезилеты, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны — всё бесстыдники продают по интернету, на ОЛХ.

А честные волонтеры потом сами всё это покупают, чтобы закрыть срочный заказ. Варварство неприкрытое!

Да, кстати, менты приходили по твою душу. Четверо. Колотили в твою дверь ногами, но никто ж им не открыл. Твоих не было дома.

Ну, они ко мне застучали. Тебя искали, гражданку Российской Федерации. Спрашивают, где ты скрываешься? Небось, хотели тебя в отдел доставить для выяснения, что ты, россиянка, делаешь на территории Украины.

— Ты сказала им, что они ищут воров не там, где надо? Что живу, на хрен, кучу лет в Украине, по законным документам. И даже, блин, получаю субсидию на бешеную коммуналку.

— Да делать мне нечего, с ментами рассусоливать. Я послала их по твоему адресу.

— Это куда?

— В Швейцарию, куда же ещё! В снежные Альпы. Ты же не против?

— А..! Лыжи, надеюсь, у них есть, марки «Пастор Шлаг» ...

— Ото седи там, в цивилизации, пока сидится! И не вздумай возвращаться. Правильно сделала, что уехала. Нечего тут ловить. Особенно с твоим паспортом. Сирены каждый день. Дурдомище полный. Пока, — заключает Светка и кладёт трубку.

А у нас тут рай! Ресторан кормит от пуза, разнообразно. Но на третью неделю сытной жизни в отеле мамочки начинают бесноваться. И устраивают Майдан в ресторане. Мясо-рыба, супы-пюре надоели. Подайте-ка нам украинского борща!

Хозяин курорта, наверное, охренел. Но он находит выход. И в ресторане сдвигают два стола, ставят переносные плиты и выдают кастрюли.

— Давайте-ка, дорогие беженки, сами варите свой борщ! Мы, швейцарцы, не умеем готовить этот шедевр культурного наследия вашей страны. Нам не понятен замысловатый код вашего борща.

Это надо видеть! Среди сдержанной роскоши ресторана Спа-курорта «АИА» — полнейший хуторской срач! Оголтелые любительницы борща, перекрикиваясь-переругиваясь и пугая солидных гостей курорта, которые в отличие от нас заехали сюда всего на три-пять дней, эти любительницы борща ожесточённо крошат капусту, лук, морковь, красную свёклу и всё это на столах, на полу, на соседних столиках, на головах их детёнышей, путающихся тут же под ногами...

Наконец-то кастрюли с борщом закипают! И одуряющие его ароматы разливаются по всему сказочному Цюриху. Борщом несёт до монастыря Гроссмюнстер, на фасаде которого сверкает золотой короной реформатор Карл Великий. Он объедался здесь, в трапезной, точно не полезным борщом, а вредным жареным мясом, отчего и быстро помер. Буйные ароматы борща легендарным диким оленем со светящимися рогами скачут до собора Фраумюнстер с его знаменитыми фресками Марка Шагала, где ещё в девятом веке правила умная феминистка Хильдегарда. Благовония украинского борща пронизывают самую дорогую улицу Европы и мира Банхофштрассе. Запахи борща снуют меж потрясающих средневековых улочек, опоясывая Часовой музей Бейера и оставляя тут неистребимый дух строптивой и независимой страны. Пахучие призраки борща врываются в знаменитую кондитерскую Шпрюнгли на Парадеплац и, смешавшись с ароматом лучшего в мире швейцарского шоколада, умиротворённым шлейфом плывут по водной глади реки Лиммат и дальше, вдоль длинного Цюрихского озера, обгоняя кораблики и ловкие парусники. До самого Кюснахта, что на Золотом берегу, где ещё живёхонькая Тина Тёрнер у себя в саду унюхивает вдруг этот одуряющий запах и тоже требует от своего любимого повара.

— Эй! Рико, а сваргань-ка и мне кастрюльку того самого украинского чуда — борщеца! Что-то на кисленькое потянуло.

Всё здесь, в Швейцарии — шоколад! Но и он приедается. И хочется домой, обнять родных. Плюхнуться в свою кровать, под пуховое одеяло.

И такое желание — вернуться скорее домой — у большинства наших беженцев.

— Всё! Европа у меня уже в печёнках. Еду домой. Наварю ведро борща. Позову родичей, кумовьёв. Выпьем самогонки. И ни в какие Европы я больше не поеду, — протестует Наталья из Херсона, очередной мой компаньон по бешеным турам — вчера Цуг, позавчера Милан, сегодня Люцерн, завтра Вена...

— Бля... дь! А дом-то мой разбомбили! И о кумовьях ничего не известно. — И Наталья трагично закрывает лицо ладонями. Через пару дней Наталья всё же укатила домой, в Херсон, к своим родственникам.

А моих прежних компаньонов Таню и Лину с их лабрадором Лилькой поселили в деревне, в 30 минутах от Цюриха. Деревня в альпийских горах. Там очень живописно, и жёлтый лабрадор Лиля облаивает стадо лам и коров, пасущихся по соседству.

А ДЖОКОНДА ОДНА

На двоих мамочек — пятеро спиногрызов. Дети неадекватные — орут, лезут по всему вагону. Мамочки тоже орут на детей. И очень рискуют. Детей при таком воспитании тут, в Европе, могут отнять в приют. О подобном случае с нашими беженцами в Германии недавно писали газеты. А эти две мамочки, похоже, не читают газет. Поди потом доказывай, что у них посттравматический синдром.

— У нас нет дома. Мы из Мариуполя. Наш частный сектор стёрли в труху. Наши мужья пропали без вести. Где-то под Донецком, — рассказывает мелкая девчонка с печальными глазами. У неё двое детей.

— Да лягушек они кормят в озёрах, чего гадать! Там, говорят, по озёрам одни трупы. Их тупо сбрасывают в воду. Чтобы не платить деньги родным, — жалуется другая, мать троих детей.

Мамочки с киндерами путешествуют по Швейцарии. По нулевым билетам, то есть, бесплатно.

Ну, а мы с Марией Пиявка едем в Париж. Мария — мой новый компаньон по турам. В моём телефоне она под этим именем, согласно своей профессии.

Скоро закончатся три месяца бесплатных туров по всей Европе. И мы спешим успеть в Париж.

Мария, врач-герудотерапевт, очень набожная, из курортного и пока благополучного Трускавца, не может скрыть своего счастья. Мы шагаем по Парижу, жадно взирая на всё, что нас окружает. Елисейские Поля, сидящие на зелёных лужайках люди с едой и питьём, Триумфальная Арка... Мария в яркой украинской вышиванке и с браслетом из жёлто-голубых

ниток на запястье. Сразу понятно откуда она. И многие встречные люди с деликатной улыбкой её приветствуют. Мария останавливается и объясняет им, что мы из Украины. Объясняет на итальянском языке. Длинно и уверенно. С нескрываемой гордостью. Она лет десять работала в Италии и бегло умеет говорить. Мне становится как-то неуютно, и я стыдливо отхожу в сторону. Мария не замечает этого. И, не теряя уверенности, победно шагает дальше по пыльной щебёнке Елисейских Полей. Потом, вдруг, простирая руки к небу, она произносит.

— Спасиби тоби, Отец небесный, що дав мени таку можливість жити и путешествовать!

— Ты ещё Путину благодарственное письмо напиши. — огрызаюсь я.

В Париже мы с Марией расходимся. Я хочу в Лувр, на Мону Лизу. А Мария тянет меня в церковь.

— Церковь и в Африке церковь! А Джоконда одна. Идём в Лувр!

Но Мария непреклонна. И я снова теряю компаньона.

ФРАУ УДАЧА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Это у космонавтов идёт жёсткий отбор на совместимость. Нас же, беженцев войны, никто не совмещал. Судьба, не церемонясь, перемешала человеческие кости, сгребла в кучу совершенно разных людей. Загрузила в автобус 50 человек и вывезла из роскошного Спа-курорта «АИА».

И покатила по лагерям для беженцев: бывшая тюрьма, казарма воинской части, бункер. Экзотика ещё та!

Военная база в Bulach Kaserne. Казармы на 15 человек. Начальница Франческа яркая личность. Вся в цветных татуировках. В чёрной армейской форме, с пистолетом в кобуре. И с громовым голосом.

Мы здесь уже неделю. Выход и вход через КПП, с долгой процедурой, с проверками по базе и сличением по паспорту. Вернуться в казарму мы должны в 8 часов вечера. Не позже. Режим. Иначе проблема. И куковать бы нам под забором, если, конечно, не смилостивится дежурный. В Bulach Kaserne к нам относятся как к солдатам. И мы уже чувствуем себя солдатами. Реальные швейцарские военные на учениях. И на время учений казармы стали нашим домом.

Франческа и её подчинённые муштруют нас, только маршировать не заставляют! Контролируют очередь в столовой. Запускают по трое. И мы, почти выдрессированные, уже наловчились рассаживаться в столовой в солдатском порядке, быстро и один за одним. А не там, где мы хотим, да вялой походочкой, да на свободные места... Если же кто-то отказывается «стать солдатом», то лишается еды. Его просто выгоняют за непослушание из столовой. И он из-за кустов пускает слюну, наблюдая

через окно за собратями, которые в столовой уплетают кашу с котлетой, овощной салат и компот из вишни. И я не только свидетель этого, но и участник, ну тот, что из-за кустов...

Франческа выстраивает нас на плацу и громогласно предупреждает, что цирка в казармах она не допустит. И за все нарушения режима нас будут штрафовать. А если кто будет отсутствовать в казарме в день выдачи денег, то денег этих он не получит. Речь о двадцать одном франке в неделю. На карманные расходы. Пособия мы начнём получать лишь на постоянном месте. Там, куда забросит нас беженская судьба по имени Фрау Удача.

Однако, военные Швейцарии сибариты! У них пододеяльники из хлопка и пуховые одеяла. У каждой кровати навесной шкаф с обычными плечиками. Полка для книг. Зеркало. Столик и лампа. И пластиковая корзина под шкафом для бытовых нужд. И я замечаю, что некоторым нашим беженцам здесь даже нравится.

Мария Пиявка, в ярком перуанском пончо, доставшемся ей из гуманитарки, всё время сидит в беседке для курения. Мария некурящая. Она неистово молится. Я замедляю шаг и вдруг слышу отчётливо.

— Отец небесный, помоги мне распределиться в прекрасный Цюрих! Чем я хуже других! Спаси меня от альпийских деревень. От кантона Аргау. Ты всемогущий! А я так хочу счастья!

Я быстро отхожу, чтобы Мария Пиявка не успела заметить меня. Зачем быть свидетелем таких откровений! Понятно, что каждый человек хочет быть там, где лучше. Как та банальная рыба, что ищет глубину. И сложно, наверное, встретить того беженца, который был бы счастлив оказаться в глухом месте, вдали от цивилизации, от магазина в трёх километрах пешком и на жидком пособии. Хотя, как знать! Мало ли каких извращенцев земля на себе держит!

И вот утром, нас, часть беженцев увозят в очередное место. Куда, не говорят. Автобус заруливает в какой-то провинциальный город и выгружает нас у череды серых зданий. Водитель машет рукой в арку, в глубине домов. Там, мол, миграционная служба, оформляйтесь! А сам по газам и скрывается. Мы с багажом: баулами, чемоданами на колёсиках, стоим как стадо баранов, где пастух упал, сражённый молнией или алкогolem, а мы не знаем, куда идти дальше.

Я смотрю на вывеску. Бангофстрассе 88. Тут же вьётся какой-то подозрительный парень. От него несёт сладким духом марихуаны.

— Украинцы? — без церемоний говорит он на чистом русском языке. — Willkommen в кантон Аргау! Вот же вы влипли! Небось, в Цюрих или Женеву хотели попасть? Да хотя бы в Берн! Не повезло вам. Аргау

самый отстойный кантон. Со столицей Арау. Слышите, какие каркающие звуки? Арау. Аргау. Кар-Кар! — И парень, взмахивая невидимыми крыльями, изображает вещую птицу. — Самый жадный из всех 26 кантонов Швейцарии! И вам отсюда не выбраться! Я его сам ненавижу. Аргау. Кар! Кар! Тут у вас пособие будет — 9 франков в день. С голодухи померёте. И это единственный кантон, где беженцам дают пособие в долг. Будете пахать, чтобы вернуть эти бабки! А если вы ласты склеите от голода, то ваши дети-внуки всё равно будут возвращать этот долг. Вас тут заставят подписать бумаги об этом.

— Та, не тренди! — слышим мы голос сзади. — Вернуть надо будет только в том случае, если вдруг разбогатеешь. Выйдешь удачно замуж — женишься. Или наследство получишь. А, может, выиграешь в лотерею Джек-Пот.

Я оборачиваюсь. Красавец мужик. Вихры тёмных волос. Узкая кожаная юбка. Мускулистые ноги в шерсти. Импозантная поза. Подведённые чёрным глаза. Курит. Женственные манеры. Говорит на русском языке. Я не могу отвести от него глаз. Но он тут же исчезает.

А парень продолжает нас пугать. Мы с ужасом прислушиваемся к его словам. О кантоне Аргау мы уже не раз слышали. О нём среди беженцев ходят зловещие слухи, как о самом плохом месте под солнцем Швейцарии. Название точно неприятное и для моего литературного уха. После Киева городок Арау кажется местечковым. И сочетание букв в названии кантона Аргау действительно воспринимается, как карканье зловещего воронья, пугающего дурными новостями.

— Аргау. Кар-Кар! Миграционка туда, на второй этаж, лифтом! — парень дразнит нас, махая руками. И скрывается, растворяя за собой сладковатый дух марихуаны.

Блин! Фрау удача не для всех.

Марию Пиявку и других беженцев, с которыми уже почти сроднились, оставили в кантоне Цюрих. Поселили в Винтертуре. 20 минут от Цюриха. Неплохо. Кантон богатый. Фрау Удача ей помогла не попасть в кантон Аргау? Или Бог, которому она так щедро молилась? Загадка. Многим повезло сказочно. Их расселили по отелям и социальным квартирам в Цюрихе. Дали комнаты в особняках.

Красивый Виталий из Николаева попадает в Цюрих, в богатый дом с террасой и садом, с отдельным от хозяев входом. Пособие ему назначают почти 800 франков в месяц.

А плачущую даму с дочерью-подростком из Чернигова поселяют в домике с личным пляжем и причалом на Цюрихском озере. За аренду

домика на целый год заплатила одна швейцарская часовая фирма. Просто повезло. Дама и не подозревала, что случайный выбор падёт на неё. И это неожиданное счастье немного заслонило печаль о контуженном муже.

Моя же Фрау Удача отвернулась от меня. Я попала. В кантон Аргау.

Я понуро стою, прислонившись к зданию миграционной службы. Нас привезли как раз в обеденный перерыв. Ждать ещё час. Рядом подпирают стенку Белые Дамы. Они тоже попали. На их лицах напряжение. Хроническая злоба. И я отхожу от них подальше, будто боясь подцепить заразную инфекцию.

Иду вдоль здания. Смотрю в окна салона. Изысканная вывеска под серебро поясняет, что тут работает стилист Мануэль. Салон наполнен антикварными красотоми. Всё по-богатому. И тут я вижу самого Мануэля. Того самого, что в узкой юбке, курил и на русском пенял наркоману, чтобы не болтал лишнего. Мануэль импозантный, роскошный, женственный. С подведёнными глазами. И в коричневой коже на тощем заду. Мануэль опускается в кресло, интимно обхватив голыми ногами плешивого клиента, сидящего к нему спиной. Мануэль о чем-то мурлычет с этим мужчиной, заглядывает к нему через плечо и заботливо проводит расчёской по остаткам волос на его голове. Я заморожена необычным для нашего люда зрелищем.

И тут появляется Дуся. Это круглая маленькая хуторянка из-под Николаева. Самой заурядной внешности. Она живёт в лагере распределения беженцев и выходит встречать новеньких. Волонтерит. Об этом она тут же нам всем и заявляет. И по-простецки обращается сразу ко всем, говоря, что тут, в лагере, есть столовая, несколько электроплит и душевые. И турецкий магазин рядом, где дешёвые продукты. На Дусю никто не обращает внимания. И почему-то она выбирает меня в качестве подружки. Наверное, моя физиономия тоже, в край, простецкая.

— А кто вы про профессии? — спрашивает у меня Дуся.

Я тут же закипаю, но сдерживаю себя. Просто отмалчиваюсь. Тогда Дуся продолжает атаку.

— А сколько вам рокив?

И тут я взрываюсь.

— А мы с вами, дама, знакомы? Мы разве подружки? Почему я должна вам рассказывать свои персональные данные!

Дуся, ничуть не смутившись, уходит восвояси. Скатертью дорога! Не дай бог ещё раз свидеться! А я ловлю себя на мысли, что я персонаж одной банальной пословицы на тему бисера и тех, кто не способен оценить этот бисер.

Нудные формальности в миграционной службе, и мы пешком отправляемся в лагерь беженцев.

Но судьба, уж, если бьёт по темечку, то не однократно, и с пристрастием.

Администратор лагеря беженцев, с именем Марко на бейджике, вооружённый Гугл-переводчиком, ведёт меня на второй этаж, заселяться. Марко красавчик, играет мускулами, секси парень. И в мою голову заскакивает совсем некстати, шальная мысль. Я представляю, как счастлива его избранница, рядом с таким мачо...

Когда Марко толкает дверь, то я шалею. Меня заселяют в комнату к Дусе. А эта простая жиночка сидит за столом, втиснутым между четырёх двухъярусных кроватей и уминает пахучую китайскую лапшу.

Я не умею сдерживать эмоции. Я не европейская фрау. И у меня аллергия на таких, как Дуся.

Я тут же выскакиваю из комнаты и категорично отказываюсь заселяться. Невозмутимый Марко поднимает брови. Включает Гугл-переводчик. Пришлось долго общаться через Транслит. И рассказывать историю, что мы с этой дамой уже пересекались. И это ж не враньё! И мы психологически несовместимы. Мы не космонавты! И это драматургия жить вместе. И дайте мне другую комнату. Пожалуйста!

Марко протестует. И не хочет искать мне другую комнату. Говорит, что всё занято. Но я чувствую, что этому красавчику Марко просто лень заниматься мной. Мне кажется, что этот мускулистый Марко в мыслях совсем не тут, в убогом лагере для беженцев в городе Арау, столице кантона Аргау. Он где-то там, далеко, в своём доме, в кровати со своей счастливой избранницей.

И я остаюсь в холле со своим багажом. Буду спать стоя, как лошади спят. Но к Дусе не пойду!

И комнату сразу находят. Меня заселяют на первом этаже. Уф! И я совсем одна в этом пространстве с четырьмя двухъярусными кроватями. Ура!

Марко учтиво улыбается. Кажется, он всё понимает. Но с любопытством переспрашивает про «космонавтов».

Большая кухня. Шесть электроплит на четыре конфорки. Здесь, в пару и кулинарном угаре кашеварят девы со всего Шарика. Колоритные негритянки. Скромные эритрейки, религиозные арабки, смешливые индуски, наши украинки. И сероглазая Кристина в мусульманском платке на всю голову. Она украинка. Но приехала в Швейцарию не из Украины. Из Турции.

Тут же те Белые Дамы. Они тусят рядышком на кухне и распространяют флюиды недоброжелательности на всех окружающих.

В кухне суэта, пар. И духота. Я открываю окна. Но Кристина в мусльманском платке тут же по-хозяйски окна захлопывает. И ругается. Дедовщина обыкновенная. Кристина с мужем-турком здесь уже второй месяц. Началась война, и они из безопасной Турции прикатили в Швейцарию. Но перехитрить судьбу сложно. И потому Кристина ещё больше злится на наших украинских беженков. У нас всё. Есть статус С, медстраховка, бесплатный проезд на три месяца и будет пособие, и нам в итоге дадут постоянное жильё.

А ей не повезло. Фрау Удача не для всех! И её с мужем, скорее всего, депортируют домой, в Турцию, где у них центр жизни. И нет войны.

МОРКОВНЫЙ ДОМ

Двое из миграционной службы, юноша и девушка, в тёмной форме, загружают нас в юркий автобус. Запихивают в багажник множество наших баулов и чемоданов. И из лагеря для беженцев города Арау везут на постоянное место жительства. Куда, не говорят. Можно, конечно, спросить. Гугл-переводчик всегда под рукой. Но никто из нас не решается на диалог. Мы обречённо ждём, куда на этот раз завезёт нас судьба. После очередного лагеря для беженцев нам уже почти всё равно, где мы найдём кров. Ведь нам уже не повезло. Мы в кантоне Аргау. Лишь бы быстрее, на постоянное место. Но какое это будет место? Деревня? Городец? Ведь постоянное жильё — это надолго.

Юноша рулит. Девушка, вся в тату, от шеи до лодыжек, с кольцом в носу, травит байки. Об этом легко догадаться по их смеху. Автобус набирает скорость.

Нас в салоне трое человек. Я с тоской смотрю на моих попутчиков, компаньонов по эмиграции. Это те Белые Дамы.

Да, не космонавты мы!

Судьба вновь смеётся надо мной. Белые Дамы всё время преследуют меня по пути эмиграции. То мы вместе в отеле «AIA». То бок о бок в последнем лагере. И везде эти Белые Дамы распускают свои жёлчные флюиды. А теперь мы в автобусе и, вероятно, будем снова рядом. Дамы из районного центра под Дубно. Сдали свою квартиру беженцам их разбомблённого Харькова и уехали в Швейцарию. Об этом легко было узнать по громкому телефонному разговору младшей Белой Дамы с её арендатором. Младшая Белая Дама — Олена, вполне ещё съедобная блондинка с монументальными сиськами нараспашку. Она прошла Турцию, Чехию, Польшу... Говорит, что работала там на сборе запчастей для телевизоров.

И мужчины последнего лагеря в Арау откровенно приглашали её на свидания. Я свечку не держала. Но слухи ходили именно такие. Ну, а её

мать Алла имеет внешность сошедшей с ума учительницы. И глаза у них колючие. И обе, как две капли, похожи друг на друга. Сзади их легко можно спутать. Обе мелкой мешковатой стати. И облачены во всё белое. Брючки, курточки, шапочки — все одного белого цвета. У этой парочки много вещей. Очень много. И ещё синий тазик, привязанный к чемодану.

Баулами, сумками, пакетами и чемоданами этих дам завален весь салон автобуса.

Я тоже с багажом. Хотя бежала с жидким рюкзакишкой за спиной. В нём были документы, кой-чего из одежды, умывальные предметы, бутылка с водой, пакетики сухофруктов. А сейчас у меня, в салоне автобуса, пять больших сумок.

Трое совершенно разных людей с похожими инстинктами...

А наш маленький автобус всё петляет по улицам какого-то мелкого селения, среди невысоких гор. Моё сердце замирает, когда мы поворачиваем к непонятным постройкам. Мне так не хочется очередного общения, с узкой комнатой на четыре человека и двухярусными кроватями.

Мои мысли скачут, как автобус по бездорожью российской глубинки, если сказать словами украинцев, любителей выискивать бездорожье у своего восточного соседа. А наш автобус бесшумно катит по роскошным дорогам Швейцарии. Да так плавно, что стаканчик с кофе, налитый из термоса татуированной девой, стоит и не дёргается на панельной стойке автобуса.

Вдруг автобус паркуется у восьмиэтажного круглого здания морковного цвета. У входа мебель из ротанга, с цветными подушками. На диванах — роскошные овечьи шкуры цвета кофе с большой дозой молока. Зайчики с морковками, улитки, лягушки и прочие игрушки, как декор экстерьера. Корзина с синими гортензиями, торчащая из багажника велосипеда, окрашенного в розовый цвет.

Для кого всё это такое наивное? Кого утешать? Я начинаю подозревать самое худшее. Нам обещали социальное жильё. Но на социальное жильё это морковное здание совсем не походит.

Татуированная дева и водитель скоренько выгружают наш багаж у входа в здание. И их автобус скрывается за поворотом. Чемоданов огромная куча. Краска стыда расплывается по моему лицу. Гора добротного багажа никак не соответствует горемычной нашей участи. Изобилие чемоданов и изгнанник. Сочетание несочетаемого. Оксюморон военного беженства 2022 года!

Но это объяснимо.

ГАРИ ЛАЙТ «ОДНАЖДЫ В ЛАДИСПОЛИ...»

* * *

*...метафора — опасная вещь...
Даже из единственной метафоры
может родиться любовь.*

Милан Кундера

Невыносимой лёгкость бытия
становится в широкой перспективе.
Ретроспективно, скажем, в ярко-синий день
когда у северной весны случится сбой,
и в арьергарде марта, как на сцене –
произойдёт прелюдия июня...
Там чешский автор в своём кредо, вопреки
всему происходящему кошмару
невыносимой лёгкостью пленит
и со страниц, и в магии экранной...
Красивой смелостью пражанок-героинь
и альтер эго главного героя,
не выбравшего для себя Париж,
когда танкистов заменили партократы,
чем в целом завершилось бытие
невыносимо лёгкого момента...

Прибрежный пригород в озёрных США:
Конец восьмидесятых. Посвежело.
С лицом француженки, одесская княжна,
после оправданно почти бессонной ночи,
цитирует пассажи из романа
в английском переводе. Лёгкий скепсис
её суждений лишь слегка невыносим.

Ей непонятны переносы на экран
всей этой чешской смелости и прочих
шестидесятнических тонкостей деталей...
И тем не менее, похожая весна
всё в той же географии докажет
несоответствие сомнений и причин.
С экранизацией романа всё решилось.
Жаль только, наступили времена
не извлечённых из минувшего уроков.
Честь не спасли. Невыносимо. Нелегко.

* * *

«В Рождество все немного волхвы...»

И. Бродский

— Все немного волхвы в Рождество?
Что я смыслю в подобных фрагментах?
Все грешили писать «под него»
и желали от слов дивидендов.
Я его даже как-то спросил
после чтений стихов в девяностых,
где набраться на всё это сил...
Он сказал: У волхвов... И отвлёкся
на персон, не наивных как я,
а нахрапистых, крепких, бывалых,
понаехавших в эти края
с родин малых своих обветшалых.
Я сказал тогда первой жене —
он с волхвами, ему не до праздных,
а она улыбнулась во сне,
проронив, что талант не заразный.
На земле его нет столько лет,
сколько от Рождества до ухода,
и волхвы не выходят на свет:
им, должно быть, претит непогода

* * *

«Какое чудо обещает скоро...»

Б. Окуджава

Виктору И. Штерну

Порой отрешённой Атлантики тишь,
вот здесь, на краю географий
промолвит почти фамиллярно — «услышь:
...ну чем тебе можно потрафить...»?
Мудрец красноречием не обделён,
как, впрочем, и строгостью мысли,
ответит, не тронут и не удивлён:
— «Даруй относительность чисел...»
Две светлых стихии друг друга поймут
в стечении этом чудесном,
и в несколько необъяснимых минут
осмыслятся время и место

* * *

Из какого-то прежнего сна
ничего не решившим эскизом,
в переулке январских теней,
обозначив свою правоту,
осознать — не сумеет она,
не сорвавшись однажды с карниза,
вспомнить — кто здесь из них Водолей
и кому осязать пустоту.

Потому, опустошенной ей,
он, не видевший эти пустоты
и невольно предавший её,
стал чужим за пределами сна,
и тех самых январских теней,
безнадёжно не вписанных в ноты —
но исполненных тьмы до краёв —
не хватило в грунтовке холста.

* * *

Марине Т. Оберландер

В весеннем Копенгагене
всё чинно-относительно,
по набережным, в гавани
кошачьи блюстители.
Быть может здесь, у ратуши
узнали Герда с Каем,
что значит — грех не на душу,
если вернуть трамваи...
И пусть бы даже Швеция
через залив виднеется,
в подобные проекции
тем легче разувериться...
Юрист, недоучившийся
на эльсинорских прениях,
винил во всём случившемся
Гертруду и Офелию.
То были страсти дачные,
зашитые в гиперболу,

и чем пейзаж невзрачнее,
тем жёстче мысли беглые.
Кофейни переполнены,
в порту и в Христиании,
знать, тролли все и молнии
заправлены в предания.
К чему стремился сказочник,
подчёркивая странности,
сажая Герде в саночки
изменника по слабости...
И всё же в этом греющем
и славном королевстве,
в простуде лёгкой, тлеющей
столь ощутимо детство

Валерий СКОБЛО
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

*...Дурочка!.. Ты могла бы рассматривать
землю, как чашечку цветка, но вместо того
хочешь быть только упрямой гусеницей!..*

Александр Грин

Кем стать могла ты? Плечом к плечу
Ангелом, рядом со мной летящим.
Будущим тем, что тебе я вручу,
И прошлым моим... настоящим.

Ты наполнить могла пустоту
Космоса под моими крылами.
Ты бы посмела шагнуть за черту
Между явью дневной и снами.

Ты зазвучать могла в тишине
Тою единственной струною...
Ты не смогла... не поверила мне.
И кто, как не сам я, виною?

* * *

Злая воля граблей —
О, как же она очевидна:
С криком яростным: «Бей!»
Прямо по лбу.
И как им не стыдно?

Изготовились к бою
И нас поджидают бессонно.
Кто стоит за спиною:
ЦРУ?.. сионисты?.. масоны?..

Всё в них подло и тайно...
Подчиняясь неслышному знаку,
Только тронь их случайно,
И сразу кидаются в драку.

Нету зубьям числа...
А на вид грациозны и хрупки.
Я служителям Зла
Нипочём не пойду на уступки!

Я не форменный псих,
Чтобы с ними вести разговоры.
Наступаю на них —
Здесь излишни учёные споры.

* * *

П.С.

В 16 лет — родись пораньше малость —
Другие времена, другой закон —
Ты мог стать рыцарем... Или такая шалость —
И вовсе королём взойти на трон.

Как времена и род людской мельчают —
Где меч, копьё и где разбойный свист?
Спишь допоздна, и утром, выпив чаю,
Сядишься за компьютер... Программист.

Но разве на прогресс найдёшь управу?
Бороться с ним не хватит наших сил...
Какой-нибудь Артур — что знал про Си и Джаву?
А как-то обходился... Вот дебил!

Я не люблю о временах прошедших стонов —
В конце концов, я не последний псих:
Да, не страшились огненных драконов —
Звонок «мобильника» поверг бы в ужас их!

...Твои доспехи, милый, не из стали,
Но, глядя на тебя, душевно рад,
Что мужество и честь — они остались,
Как тысячу и больше лет назад.

Из цикла «Шутки такие»

* * *

Ты можешь сам с собой не разговаривать? —
Спросила возмущённая жена.
Что ж, откажусь я от питья и варева,
Мне эта пища больше не нужна.

Мне сердце жжёт духовное томление,
Но чужды дети и жена, и друг.
С кем разделить прозрение... сомнение?
Я собеседника не нахожу вокруг.

Кто я? Не воин ль света утренний,
Небесною разбуженный трубой.
Мне вятен тихий голос, голос внутренний.
И с кем мне говорить, как не с собой?

* * *

На письма о том, что дед
в больнице и напишет позже,
все ответили по-разному
и непохоже.

Бурные вскрики... вопросы...
 спокойное: а... ну, ладно.
 А по мне хоть что-то черкнули —
 и то отрадно.

Некоторые и тут
 отписали свои новости.
 Эти хотя бы искренни,
 если по совести.

Ну, а большая часть: что?..
 да как?.. любопытством томимы.
 Голое любопытство —
 и ничего помимо.

МОИ СООБРАЖЕНИЯ О ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Северный полюс нашей родной Галактики
 Расположен в созвездии Вероники...
 Из этого факта — ни фига на практике,
 Ни к чему здесь победные крики.

В астрономии этой такого до кучи —
 И зачем нам наука такая в школе?
 И без неё наши предки стали могучи,
 Непобедимы в лесу и в поле.

Скажем, химия — для производства тротила,
 Для водородной бомбы — физика та же.
 В этих науках понятная миру сила,
 Нет и сомнений в нужности даже.

Математика, но в небольших количествах —
 Для всяких расчётов (нельзя без сноровки!)
 Сложных орбит разных ракет баллистических,
 Несущих к цели боеголовки.

Лев БОЛДОВ ИЗ ВРЕМЕНИ СЕМИДЕСЯТЫХ

ОТ РЕДАКЦИИ

19 февраля 2015 года в Ялте после тяжёлой болезни в возрасте 45 лет умер поэт, музыкант и исполнитель авторской песни Лев Болдов. Он предсказал в стихах и диагноз своей смерти: «И орлом становится цирроз, Прометею выклевавший печень».

Болдов — автор восьми поэтических сборников.

Памятные вечера в его честь прошли в городах Крыма и в Москве. XIII Международный литературный Волошинский конкурс, лауреатом которого поэт стал в 2003 году, был посвящён памяти Льва Болдова. На Седьмом международном литературно-художественном фестивале «Русские мифы» имени Юрия Дружникова поэт награждён (посмертно) дипломом за большой творческий вклад в отечественную культуру.

Лев Болдов родился в 1969 году в семье инженеров. Закончил Московский институт инженеров транспорта по специальности «прикладная математика». Развивал поэтический дар в студенческие годы. В разное время печатался на страницах различных литературных журналов. Сам относил своё творчество к мистическому реализму. Долгое время жил в Харькове, часто бывал в Крыму. Работал учителем математики, редактором, журналистом.



Поэт Александр Карпенко назвал Болдова кочевником по натуре. Для него и Москва, и Харьков, и Крым были родиной. Болдов любил русскую историю, считал, что в ней не должно быть замалчиваний и «выпячивания одних исторических личностей в ущерб другим».

Многие стихи Льва Болдова положены на музыку и исполняются бардами.

Известный критик Лев Аннинский в поэзии Болдова нашёл чёткость «классического» стиха и острое чувство меняющейся современности.

У Болдова была настоятельная потребность читать свои стихи везде, где только была такая возможность — в гостях, кафе, столовых, литсалонах. Он был настолько «заряжен» на исполнение своих произведений, что использовал любую возможность, чтобы почитать. Конечно, его об этом просили, сам он никогда не согласился бы солировать без приглашения. Он отдавал при чтении такой колоссальный сгусток своей речевой и ментальной энергии, что слушателям всё время прозвучавших стихов было мало, и они требовали ещё и ещё.

Предлагаем читателям подборку его стихов.

* * *

А я — я из времени семидесятых,
 Наивных, развенчанных, в вечность не взятых.
 С цитатами съездов, с «Берёзкой», и с БАМом,
 Со складами по опозоренным храмам,
 С борьбою за мир, со столовским компотом,
 С Генсеком, кочующим по анекдотам,
 Со Штирлицем, с очередями за пивом,
 С народом, сплочённо-немым и счастливым.

А я — я из времени семидесятых.
 С Эйнштейнами на инженерских зарплатах,
 С «Ироньей судьбы», с «Белым Бимом», с Таганкой,
 С Арбатом, на ставшим туристской приманкой,
 С Тверской, не пестрящей валютной натурой,
 С великой не сдавшейся литературой.

Да, я из того, из «совкового» теста.
 И нет мне в сегодняшнем времени места.
 И пусть не тупей, не слабей, чем другие,
 Оно не простит мне моей ностальгии,
 Оно не простит моего ретроградства,
 Соплей романтических нищего братства.
 Оно не простит. И не надо прощенья.
 Мне в столп соляной не грозит превращенье.
 Пока ярок свет над помостом фанерным,
 Пока мне «Надежду» поёт Анна Герман.

* * *

В сумерках промозглого рассвета,
В придыханьях зыбкой тишины
Не будите, граждане, поэта.
Пусть он видит розовые сны!

Пусть, внезапным оглушён успехом,
Выдернув козырного туза,
Видит Лужники и Политех он.
И богинь горящие глаза!

Видит тиражи в десятки тысяч
И журналов «толстых» корешки,
Позабыв, как в кабинеты тычась,
На кулак наматывал кишки.

Он — дитя беспечности и света,
Вымыслы кроющийся на краю.
Не будите спящего поэта.
Пусть ещё понежится в раю!

А не то — взъерошенный и пылкий,
Мятые пересчитав рубли,
Он в ларёк помчится за бутылкой —
Выдержать давление земли!

А не то — занюхав коркой хлеба,
Раскидав наброски на столе,
Он рванёт в распахнутое небо
Или закачается в петле.

Небеса прочертит, как комета —
И растает пылью золотой!
Не будите, граждане, поэта,
Под счастливой спящего звездой.

Пусть звучит шагаловская скрипка,
И читает стансы Мандельштам.
Пусть блуждает детская улыбка
По надменным горестным устам.

Пусть витает он в потоках света,
Радостью несбыточной лучась.
Не будите, граждане, поэта,
Дайте быть калифом хоть на час!

Пусть подступит к подбородку Лета,
Ставя эпикриз к земной возне.
Не будите спящего поэта!
Дайте умереть ему во сне.

* * *

В голубоватой дымке сад.
И яблоки висят.
А там, за крышей голубой,—
Чуть слышимый прибор.
И полусонных окон ряд,
И влажный виноград.
Всё это было век назад.
А может — два назад.

Не оставляй меня, Господь,
Верни меня туда,
Где в руку, как живая плоть,
Спускается звезда!
Мне здесь немислимо уже,
Бессмысленно уже —
На этой выжженной меже,
На мёртвом рубеже!

И память бризовой волной
Накатит горячо.
И кто-то встанет за спиной
И тронет за плечо.
И что-то сдвинется во мне,
Затеплится в груди.
И чей-то голос в вышине
«Встань, — скажет, — и иди!»

* * *

Генеральская внучка, француженка,
Недотрога, чужая печаль —
Как ты, девочка, жизнью застужена,
Что оттаять не в силах, а жаль!

И чего разглядел ты в ней, спросите,
И какая влюбила шиза
В эти волосы с пепельной проседью
И в русалочки эти глаза?

Будет знать, что уже не сломается,
Что любой перехватит удар.
Будет пить, материться и маяться
На участке размером с гектар!

Ну а ты, мутной славой овеванный, —
Краснобай, сочинитель, алкаш —
Что ты дашь ей, такой вот уверенной
И такой разуверенной дашь?

Над Апрелевкой зной нескончаемый,
Электрички грохочут вблизи.
Сам не справился — сам и отчаливай,
По кривой свою боль вывози!

А она постоит у околицы
Своего родового гнезда —
Боязливо-смиренна, как школьница,
Как грандесса надменно горда.

Дай же Бог ей всего, что захочется —
Рим, Египет, Эдем и Содом —
Чтоб хоть чем-то согреть одиночество,
Что горит антарктическим льдом!

* * *

*...Ну, писал там какой-то А. Галич,
Ну не стало его — делов!*

Кружит стая разбойничья галочья,
Точит финки отравленных слов.
Ну не стало какого-то Галича —
Там, в каком-то Париже — делов!

Убиваться, сограждане, нечего.
Не расстрел же — домашний курьёз!
И не русская, в сущности, речь его
Вряд ли тронет кого-то всерьёз.

Так что мысли крамольные выбросьте.
Не рисуйте печаль на челе.
Что жалеть о каком-то там выкресте —
Не Есенин, чтоб сгинуть в петле!

Позабудется напрочь со временем
Этих песенок вредная блажь.
И не наш он ни родом, ни племенем.
И повадкою барской — не наш.

...Кружит снег над Москвою и Баденом,
И над Сен-Женевьев де Буа.
Пахнет мёдом и воском, и ладаном.
И судьба, как бумага, бела.

Снегопад над Невой и над Сеною,
Над промёрзшей навек Колымой...
И глядит он с улыбкой блаженною,
Навсегда возвратившись домой!

Отпахавший три смены стахановец,
На усталых своих земляков
Он глядит, приоткрыв, будто занавес,
Чуть подсвеченный край облаков.

Стали прахом гранитные истины,
Палачи растворились в толпе,
И не надо ему ни амнистии,
Ни проклятого членства в СП!

Только эти поля половецкие,
Деревенской церквушки ковчег.
Только эти глаза полудетские,
Что предать не сумеют вовек!

Только света янтарного лужица
Над упавшей на стол головой.
Только диски, что медленно кружатся,
Как планеты во тьме мировой.

МАНДЕЛЬШТАМУ

Осыпается в небыль осипшая осень.
Оседает туман на заброшенный сад.
Шепчет ветер седой еле слышное «Осип»,
И стихи, как созревшие гроздья, висят.

Осип, Осип... Осин позолота поблёлка.
Ось земная впивается в грудь всё острее.
И тяжёлые осы всё бьются о стёкла,
И тяжёлые волны встают у дверей.

Только в окнах — Венеция или Воронеж,
Адриатика или колымская мгла —
Где шаг влево, шаг вправо — и камнем утонешь
В этой бездне, что стольких уже погрела!

Где ж птенец твой, Господь, перепутавший время?
Где он спит, опоённый летеиской водой?
Где твой певчий, тобой поцелованный в темя?
И проколотый насмерть кремлёвской звездой?!

Где он бродит, в каких эмпиреях витает —
Звёздный мальчик с тюремным тавром на груди?
Таёт памяти воск, старый сад облетает,
Бессловесную жалобу тянут дожди.

И не вырваться в неба щемящую просинь!
И деревья нагие стоят как конвой.
И бормочет Господь еле слышное «Осип»,
Шелестя, как страницами, ржавой листвою.

Грину

Минувшее в нас прорастает незримо.
Вдруг ставень качнётся и скрипнет крыльцо,
И где-то на улочках Старого Крыма
Почудится старого Грина лицо.

Как странен волшебник с чертами бродяги,
Носитель фантазий и грустных усов —
В стране, превратившей в кровавые стяги
Полотнища алых его парусов!

В стране, присягнувшей штыку и нагану,
Где счастлив любой, избежавший оков, —
И можно смотреть, как плывут к Зурбагану
Пушистые парусники облаков!

И можно умчаться из крохотной кельи
За тысячу миль, разминувшись с бедой,
И пить в кабаках молодецкое зелье,
И резаться в кости с матросской ордой!

Какие там обетованные кущи?
Какой там прикормленный «вечный покой»?
Он просто ушёл за своею Бегущей,
Махнувшей ему обнажённой рукой!

В дырявом шарфе, в макинтоше потёртом —
Туда, где легендами ветер пропах,
Где гроздьё огней зажигает над портом
Мальчишка с растрёпанной книгой в руках.

ПАСТЕРНАКУ

Меж сосен, как между свечей,
Зажжённых медленным закатом,
Он уходил — уже ничей,
Не подотчётный супостатам.

В мерцающую синеву
Он уходил, прямой и строгий,
Бессмертные роняя строки,
Как парк — последнюю листву.

Здесь было всё его — ручьи,
Дома, овраги, перелески...
Всё — до полёта занавески,
До вдоха гаснущей свечи!

Он выправлял им голоса.
С каким младенческим упрямством
Он дирижировал пространством,
В себя влюбляя небеса!

Беспечный, как античный бог,
Печальный, как пророк библейский,
Прошедший как по тонкой леске
Сквозь жерла варварских эпох,

Отшельник в собственной стране,
Он уходил, во тьму врастая.
И строк осиротевших стая
Кружила в гулкой вышине!

Он уходил — как долгий день
Уходит, ночи покоряясь, —
Во всех живущих растворяясь,
На всё отбрасывая тень.

И в небе, как прощальный знак,
Как несмолкающая нота,
Как долгий след от самолёта,
Парила подпись «Пастернак».

* * *

Проведи меня, кот Бегемот,
Тем булыжным Андреевским спуском,
Где качается бледный фонарь
Над укутанной в снег мостовой.
И закружит теней хоровод
В коридорчике памяти узком,
И бессонницей жёлтой январь
Полыхнёт над далёкой Москвой.

Вечной книги лукавый фантом,
Мой шутник гуталиновой масти,
От пустого людского суда,
От поклонников жёлтых штиблет
Уведи меня в низенький дом,
Где корпел над тетрадками Мастер,
Где он счастлив был как никогда
Те тринадцать горячечных лет!

Все здесь юны и все влюблены,
В окна ломаются гроздья акаций,
Как роман, что раскрыт наугад, —
Этот дом, где все судьбы сплелись,
Где романсы поют Турбины
Средь оживших на миг декораций
И Андреевской церкви фрегат
Уплывает в багряную высь!

Николай ФОРМОЗОВ
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
КЕНГИРСКОГО ВОССТАНИЯ

Вскоре после смерти Сталина случились сразу три небывалых в истории ГУЛАГа события — Норильское, Воркутинское и Кенгирское восстания. Название «восстания» весьма условно, оно прижилось, чтобы подчеркнуть масштаб. Это были массовые забастовки политических заключённых с требованиями начать пересмотр дел, остановить произвол охраны и смягчить режим. Первая исследовательница Норильского восстания, журналистка Алла Макарова предложила ёмкое определение «восстания духа».

Так случилось, что я, зоолог по образованию и профессии, уже больше половины жизни собираю материалы и пишу о Кенгирском восстании (почему и как — об этом мог быть отдельный рассказ). Оно относительно хорошо изучено. А. И. Солженицын посвятил этим событиям главу в «Архипелаге ГУЛАГ» «Сорок дней Кенгира». В последние годы были опубликованы многие документы, вышли книги в Украине, Литве, Казахстане и Испании.

События в Кенгире (в 3-м лаготделении особого Степного лагеря) 16 мая — 26 июня 1954 года сами участники обычно зовут «сабантуй». Это было не самое массовое и не самое продолжительное выступление из трёх, но безусловно самое яркое. На сорок дней три лагпункта — два мужских и женский — обнесённые высокой саманной стеной и окружённые единой огневой зоной, слились в единое целое. Всего здесь содержалось около 5200 заключённых, из которых чуть меньше половины составляли женщины. Повстанцы разрушили стену.

Для ведения переговоров с лагерным начальством была избрана комиссия заключённых, в неё вошли 6 человек. Возглавил комиссию бывший подполковник Красной Армии Капитон Кузнецов. 20 мая было достигнуто соглашение с гулаговским начальством, многие требования бастующих были удовлетворены и 21-го мая третье лаготделение вышло на работу. Но через три дня вопреки договорённостям, как их понимало

большинство эзков, охранники заделали проходы и установили огневую зону между лагпунктами.

Под пулемётным огнём заключённые вырыли по направлению к борам траншеи, по ним подобралась вплотную и восстановили проломы. Зона вновь перешла в руки её обитателей, но четыре члена комиссии, в том числе Кузнецов, объявили о прекращении своих полномочий.

Прибыла новая правительственная комиссия, для переговоров с ней переизбрали комиссию от заключённых по трое от каждого лагпункта. Её опять возглавил Кузнецов, кроме него из старого состава в неё вошли только Макеев и Шиманская. Переговоры затянулись. Лагерь жил бурной жизнью. Действовал отдел агитации — разобрал киноустановку, наладили внутрелагерное радио, выходила стенгазета, по ночам с воздушных змеев рассыпали листовки за зоной лагеря. Готовились запустить воздушный шар с надписями: «Требуем приезда члена Президиума ЦК КПСС», «Позор бериевскому произволу!», для этого добывали водород. И главное — из аппарата УВЧ (лагерная больница тоже была под контролем) чудо-мастера собрали коротковолновый передатчик, азбукой Морзе он перекинул мосты через весь Казахстан. Военный отдел готовился к обороне, из прутьев решёток сделали пики, счищали серу со спичек, ею набивали уголки от поилок для скота, которых в достатке было в мастерских. Эти шутихи и называли «нашим тайным оружием». Главой отдела агитации был Юрий Кнопмус, а военного — Михаил Келлер.

Жизнь обрела новые, яркие, человеческие краски. Проводили концерты. Открылось нечто вроде «кафе» — потомок известного рода Алексей Бобринский пел романсы под гитару и угощал гостей самодельной шипучкой. Репетировали «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина, премьера была назначена на роковое 26 июня. Пригласили и приезжих генералов. Даже не поморщившись, они взяли со старанием украшенные билеты, хоть и знали, что у них премьера намечена другого рода.

Есть одно разительное отличие Кенгирского «сабантуя» от всех других известных восстаний в ГУЛАГе и одновременно самая щемящая его нота — это *любовь*. В лаготделении было почти поровну мужчин и женщин. Работали на одних и тех же стройках, но в разные смены (женщины больше ночью — «не убегут»). Весь лагерь переписывался с сёстрами или братьями по несчастью. И вот любовь, по выражению Солженицына, «спустилась с небес на землю». Заключались браки. Венчал о. Антон Куява, ксёндз из Польши. Помнят и православного батюшку, и муллу, но освящали ли браки и они, неизвестно. Любовь была и счастьем, и бедой Кенгира. В мужских лагпунктах «Рудника» (1-е лаготделение Степлага)

с завистью ворчали: «Кенгир погубили бабы!» Раз вдохнувших свободу, нашедших друг друга людей, взявшихся вить, как птицы в клетке, из подножного сора гнездо — разлучить можно было только силой. А её было в достатке.

...26 июня в 3.30 утра в лагерь вошли 5 танков Т-34, 3 пожарные машины, 1600 вооружённых солдат и 98 проводников со служебными собаками. Началась стрельба. Точное число погибших неизвестно. Цифры называют самые разные, официальная в секретной докладной записке министру МВД Круглову — 46 убитых, 52 тяжело- и 54 легкораненых заключённых. У покорителей мятежной республики потерь не было, документы сообщают о 4-х раненых, но не приводят имён. Я не сомневаюсь, что, если бы речь шла о чём-то более серьёзном, чем царапины, были бы приведены имена и звания пострадавших, дабы оправдать тем самым гибель эков.

Насколько известно, это единственное лагерное восстание в истории ГУЛАГа, при подавлении которого использовались танки.

ЗАГАДКА КАПИТОНА КУЗНЕЦОВА

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ КЕНГИРА»

Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. <...> Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? (Я это отклоняю). Или зная командные свои способности, — для того, чтобы умерить его, ввести в берега <...> и укрощённой волной положить под сапоги начальству? (Так думаю).

А. Солженицын

ТРИ ПИСЬМА

После публикации «Архипелага ГУЛАГ» в «Новом мире» Александр Исаевич получил ответы на свой вопрос о Кузнецове сразу в трёх письмах.

Григорий Климович, один из организаторов Норильского восстания, писал о том, как он встречался с Кузнецовым в Озерлаге и Иркутской тюрьме: «Сюда [в Анзёбу, лагпункт Озерлага] были доставлены и Кузнецов с Воробьёвым,* но их поместили не в лагерь, а в изолятор, находив-

* Иван Егорович Воробьёв (1923–1955), советский партизан, «убеждённый беглец» по определению Солженицына, один из руководителей Норильского восстания в 3-м, каторжанском, лаготделении Горлага. О нём есть статья в Википедии.

шийся за пределами запретной полосы лагеря. С большим трудом нам удалось связаться с ними и получить от них ряд указаний о сопротивлении режиму. Отдавая должное организаторским способностям этих людей, Евстигнеев [начальник Озерлага] убрал их от нас и заключил в изолятор при 26-м лагпункте, но вскоре этапировал их оттуда в Иркутскую тюрьму, где мне и довелось встретиться с ними весной 1955 года. Куда их этапировали из Иркутска — неизвестно. Мы искали их в Дальлаге, на Колыме, в Краслаге, но на след напасть не удалось».

Второе письмо пришло от поэта Ричарда Красновского из Архангельской области: «Приблизительно в августе месяце 1954 года я был в БУРе на Карабасе и в одной камере со мной недолгое время находился Кузнецов — приземистый, залысый, сильно разговорчивый мужик с замашками „отца солдатам“. Кроме него никого из участников Кенгирского восстания в БУРе не было.

Зимой 1955 года я очутился на Спасске в четвёртой зоне. Несколько позже туда же прибыл К. И. Кузнецов, но не в четвёртую, а в центральную зону и был сразу же, на удивление всем, назначен старшим нарядчиком. Зоны между собой не сообщались, но сведения эти совершенно достоверны и, кроме того, мы — находившиеся в четвёртой зоне — периодически ходили в центральную зону в баню, и я собственными глазами видел К.И. <...> Думаю, нет необходимости разъяснять, что такое БУР, Карабас, Спасск и кто мог быть назначен старшим нарядчиком особенно такой зоны, как Спасская? <...> В Спасске был слух о том, что Кузнецова несколько раз пытались зарезать, но кто и за что — достоверно сообщить не могу».

Третье письмо было из Владимира от почвоведца Александра Ивановича Жукова, заведующего лабораторией гумуса института торфа и органических удобрений. Александр Жуков с юности вёл дневники. Осенью 1970 года во время экспедиции в Краснодарский край он познакомился с Кузнецовым. Его рассказы показались Жукову столь необычными, что он их сразу записал. В «Новый мир» была послана обширная выписка из дневника. Здесь я приведу текст дневника Жукова с сокращениями для журнальной публикации.

18 октября. Был в ст. Раевской, где Вася Тюленев познакомил меня с человеком сложной судьбы Капитоном Ивановичем Кузнецовым. Ему сейчас 55 лет, но выглядит он лет на десять старше своего возраста. Он долго рассказывал мне о себе <...>. В 1943 году он возглавлял дивер-

сионную группу, которая была заброшена вглубь фашистской Германии с задачей взорвать военный завод «Металлхаузен». <...> Однако Кузнецов и члены его группы были схвачены и попали в руки гестапо. <...> Всех их отправили в лагерь уничтожения «Маутхаузен». Издевательства, которым они там подвергались, «были хуже смерти». <...> Он [Кузнецов] был свидетелем того, как Карбышева заморозили. <...>

Но заключённые не теряли надежд. Была создана группа сопротивления. В её состав вошёл и Кузнецов. Капитан Иванович сказал мне, что о деятельности этой группы написано в книге бывшего узника концлагеря В. Сахарова «В застенках Маутхаузена» (М. 1962). <...>

Кузнецов рассказывает, что в начале февраля 1945 года под его руководством был организован побег 22-х заключённых. Побег был удачным. Кузнецову удалось перебраться через линию фронта, и он снова оказался в рядах Советской Армии. Закончил войну в звании полковника. Однако против него плелись интриги. В 1946 году его вынудили уйти в отставку. Вернулся в Анапский район, где снова, как и до войны, стал работать агрономом. Один, без семьи и друзей.

Его жена Аня погибла, дети, два мальчика и девочка, потерялись. <...> [Во время оккупации] её [жену Кузнецова] включили в подпольную группу крайкома, где она стала работать корректором. Лишь только немцы заняли Краснодар, вся подпольная группа (45 человек) была арестована. <...> Дети Капитана Ивановича видели, как вешали их мать. Она крикнула старшему: «Женя, не забывают, что у вас есть отец!»

<...> Вернувшись из армии, Кузнецов приступил к розыскам детей. Найти не успел. В 1948 году он был арестован и приговорён за измену Родине к расстрелу. Расстрел заменили 25-ю годами исправительно-трудовых лагерей. Конечно, причин для обвинения в измене никаких не было. В 1954 году Кузнецов был полностью реабилитирован. В это время он находился в Семипалатинской области (Джезказган?, Кенгир). Выехать из лагеря не успел, не были оформлены необходимые документы. В лагере, между тем, началось восстание заключённых, вызванное провокацией пьяных охранников, зашедших в зону и убивших из автоматов 48 заключённых.

Кузнецов в лагере среди политических пользовался большим авторитетом, поэтому лагерные власти обратились к нему с просьбой помочь навести порядок. Он согласился и в результате оказался председателем лагерной комиссии по наведению порядка, составленной из заключённых. Удалось навести относительный порядок. В этом немалую роль сыграл личный авторитет Кузнецова.

Однако местным властям нужен был козёл отпущения, и Кузнецов был назван руководителем восстания заключённых. Три раза судил его Верховный суд Казахской ССР. На двух процессах не только защитник, но и прокуроры говорили, что Кузнецов не виновен. На третий раз суд состоялся без защитника, и прокурор был другим. Кузнецова приговорили к расстрелу. Два с половиной года он просидел в одиночной камере смертников в Семипалатинской тюрьме. Его не стригли и не брили. Борода за это время отросла ниже пояса. Почти совсем потерял зрение.

<...> В Семипалатинскую тюрьму прислал короткое письмо писатель С. С. Смирнов, где он писал: «Я узнал, что Вы были одним из организаторов побега из фашистского лагеря смерти Маутхаузен. Не можете ли Вы прислать мне свои воспоминания?» <...>.

В 1960 году Кузнецов написал письмо Н. С. Хрущёву (он дал мне его прочитать). Ему предоставили такую возможность. Какой-то генерал (высокое должностное лицо прокуратуры Казахстана) переслал это письмо в ЦК. Оно дошло до Хрущёва. Вскоре Кузнецов был реабилитирован и отпущен на свободу.

Вот такова судьба офицера Кузнецова. Сейчас он выглядит стариком, <...> на его голове лишь небольшой кружочек реденьких седых волос вокруг лысины. <...> Слепнет. <...> В Раёвке он работает агрономом-виноградарем в совхозе «Семигорье». Ни кола, ни двора. Не имеет даже квартиры, живёт в общежитии <...>

Теперь бывший полковник Кузнецов просто тихий и скромный старикашка. Только очень словоохотливый. Тут сказались, вероятно, долгие годы молчания в тюремных камерах и его теперешнее одиночество. Друзей у него нет. По его словам, руководство совхоза пытается его выжить. Пустили о нём по станции славу, что он пьяница и занимает для этого деньги. Начальник отдела кадров («злая баба!») заставила тех, у кого он занимал («на сумму 6 рублей!») Он их отдал при первой возможности), написать на него жалобу.

«Я очень устал и физически, и морально,— сказал Капитон Иванович.— Не знаю, как я эти пять лет до пенсии доработаю. Сдохну, наверно!» <...>»

Вот такие письма. Всем трём их авторам я написал. Климович и Красновский мне ответили, завязалась переписка, мы много раз встречались, стали друзьями. Эти письма были опубликованы в «Независимой газете». Характерна реакция Г. С. Климовича на публикацию: «Впечатление такое, что и я, и Р. Красновский, и А. Жуков пишут о трёх разных Кузне-

цовых К. И. Не доверять свидетельству Красновского и Жукова у меня нет оснований, и всё же... Не мог Кузнецов возглавить восстание в Кенгире по заданию МГБ. Такое задание могло быть одним — прекратить „волын-ку“ (так называли в МГБ это восстание) и навести порядок. Но как свидетельствуют активные участники восстания в Кенгире, Кузнецов действовал в развитие восстания, придавая ему организационные формы, но не добивался прекращения его...».

Дальше Григорий Сергеевич аргументировано ставит под сомнение и письмо Жукова. Как и всякий очевидец, он был глубоко уверен в том, что именно его версия правильна, только его свидетельства правдивы. «Тот ли это Кузнецов? А что, если это был двойник, созданный ЧК с целью облить грязью подлинного Кузнецова и скомпрометировать его?».

Климович был страстным романтиком, и всё, что могло бросить тень на чистоту движения, в котором он участвовал, казалось ему лишним. Был и ещё один аспект — походя обвинять в двурушничестве, сотрудничестве с оперотделом в лагерях было не принято. Такие обвинения «смывались кровью», то есть за болтовню на эту тему полагалось бить морду до крови. А если обвинения подтверждались — то это часто сулило смертный приговор со стороны лагерного подполья. Поэтому тема предательства оказалась крайне трудной для исследования устным историком.

ТРИ ДЕЛА КАПИТОНА КУЗНЕЦОВА

Ещё в самом начале моих исследований сопротивления в ГУЛАГе мне объяснили: «Задавать прямой вопрос: „Как ты сюда попал?“ у нас было не принято, если человек захочет, он сам тебе расскажет, как здесь оказался». Судя по всему, Капитон Кузнецов рассказывал о своём деле весьма охотно. Его рассказы запечатлены во многих воспоминаниях, разнясь в незначительных деталях. Преобладающую версию можно свести к следующему: полковник (всегда именно полковник) Кузнецов либо артиллерист, либо танкист (примерно в соотношении 1 к 1) служил в Германии (командовал частью, либо был военным комендантом) и был арестован за бегство или подготовку к бегству каких-то сослуживцев на Запад.

Но в кенгирских воспоминаниях встречается и другая версия ареста Кузнецова. Поэтесса, а во времена заключения медсестра Руфь Тамарина пишет, что «полковник Кузнецов один из организаторов сопротивления военнопленных советских офицеров в фашистских концлагерях» и именно за плен он и был арестован. Эта версия неожиданно переключается с той, что в 1970 году услышал от Кузнецова почвовед Жуков. Руфь Мееровна Тамарина была близка к «гнезду благонамеренных», как на-

звал немногочисленных противников «сабантуя» Солженицын. Видимо, в их среде Кузнецов выдвигал другую, более героическую версию ареста.

Оба сюжета, рассказанные им в Кенгире, как и история, сообщённая А. И. Жукову, далеки от правды. Арестован Капитон Иванович был по другой причине. Вот краткая справка, приведённая в документах ГУЛАГа:

Кузнецов Капитон Иванович, 1913 года рождения, уроженец с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области, русский, беспартийный, образование высшее, работал до 1948 года главным агрономом Райсельхозотдела Ростовской области. Осуждён по ст. 58–1 «б» УК РСФСР на 25 лет.

В мае 1942 г. Кузнецов попал в плен, находясь в Перемышленском лагере военнопленных, вступил в связь [sic — Н.Ф.] с зондерфюрером Райтером, по рекомендации которого в октябре 1942 г. был назначен на должность коменданта лагеря русских военнопленных. Занимался вербовкой военнопленных для сотрудничества с немцами. Принимал участие в карательных операциях против советских партизан.

Когда лагерная администрация поняла, что Кузнецов вышел из-под контроля и ведёт какую-то свою игру, его пытались скомпрометировать. 3 июня трижды по внешнему лагерному радио прочли «Обращение комиссии МВД и Прокуратуры СССР к заключённым 3-го лагерного отделения Степного лагеря». В нём говорилось:

Известно ли вам, что Кузнецов в тот период, когда советский народ от малого до большого [sic] вёл напряжённую борьбу по защите своей Родины от фашистских захватчиков, этот авантюрист продался фашистам и был назначен комендантом немецкого лагеря советских военнопленных. Кузнецов активно участвовал в карательных экспедициях против советских партизан. Он и сейчас ввёл фашистский режим в вашем лагере: проводит пытки, организует изощрённые насилия над личностью, принуждает вас голосовать за его демагогические призывы.

Поразительно, что никто из многих опрошенных мной и оставивших воспоминания очевидцев не запомнил этой характеристики. Не запомнили, потому что не поверили. То, что могло в ней заинтересовать эзков, было круто перемешано с ложью о положении в лагере. Неэффективность пропаганды лагерной администрации поразительна — она граничит с полной немотой.

Ирина ЕВСА
ОЧЕРЕДЬ

ЭВРИДИКА

Он видит стен шершавую белизну,
пустую койку, немолодой четы
фото и — чуть левее — свою жену:
в платье из тёмно-серого полотна
она сидит на стуле спиной к окну.
Он видит контур, но не её черты.
«Это не тот, не тот! — говорит она. —
Где, недоумки, родинка возле рта?»
Ей говорят: «Вот».
Она кричит, раскачиваясь: «Не та!
Пусть он уйдёт, уйдёт!»
Грачи в больничном вспархивают дворе.
Не тот стоит и думает: «Помнит хоть
родинку. Это, вроде бы, добрый знак».
Жидкую прядь сдувает с виска сквозняк.
Врач говорит вполголоса медсестре:
«Надо бы уколоть».
И он выходит, чтобы не видеть, как,
дёрнувшись, словно сбитое на лету,
тело не той обмякнет в чужих руках,
из оболочки высвобождая ту,
что всякий раз беззвучно за ним скользит,
растерянно тормозя
у двери, где светящееся «exit»
читается как «нельзя».

* * *

Бронзовки, осы, пыльные плодоярки,
ящери, головастики, голавли,
яхты, фрегаты, шлюпки, фелуки, джонки —
где они? Утекли
в плоской полоске света, в летучей влаге
ворохом охры в мелком лесном овраге,
щепками, головешками на плаву,
струпьями лета, лопнувшего по шву.

Врунгели, уленшпигели, оцеолы,
дервиши, беспризорники, короли,
дерзкие чародеи бродячей школы —
где они? Утекли,
сгрудившись на корме одряхлевшей барки,
где посылает «sos» головастик в банке
азбукой Морзе всем старикам земли,
прячась под курткой у китайчонка Ли.

В тёмных запрудах, в заводах неопрятных,
переливая «некогда» в «никогда»,
лица листвы в прожилках, в пигментных пятнах
перед концом разглаживает вода.
И проступают вдруг, как на общем фото,
скулы, носы, веснушки. Вполоборота
кто там свистит беззвучно щербатым ртом —
Гек или Том? Да ладно! Конечно, Том.

* * *

Надо, собравшись, тело загнать в пальто —
куртка вчера промокла.
Солнце с утра высвечивает лишь то,
что не помыты окна,
дырочку в шторе, трещинку на полу.
Предпочитаю мглу,

яму её воздушную: «Баю-бай, —
шепчущую, — герою —
стяг, беглецу — беспамятство. Погибай
молча, а я прикрою.
Выруби интернет, отключи слова —
кончено: ты мертва.

Как маргаритка, вложенная в альбом
вкрадчивым анонимом,
ты распадёшься — в чёрном, не в голубом —
сном бытованья мнимым.
Версия: на миру, мол, и смерть красна —
тоже ловушка сна.

Ну же, прикинь: ты будешь нигде, везде,
прочих ничем не хуже,
но и не лучше: блёсткой в ночном дожде
блошкой бессмертья в луже.
Вместо надежды зряшной, войны, вранья —
правда небытия.

Мгла обнуляет, свет норовит дожать
не у мадьяр, так в Польше.
Всё, что сейчас пытаешься удержать,
не существует больше.
Я состою из армии — веришь? нет? —
предпочитавших свет».

Так она обволакивает, бурча,
бродит, скрипя паркетом,
то волосинку смахивая с плеча,
то шелестя пакетом.
Долго вздыхает под простынёй льняной.
И засыпает мной.

СОСЕД

Утром в бейсболке, а днём в панамке,
Длинный, худой и одетый так, что
в облике нет ни одной помарки
он, выходя, проверяет почту.

Морщится, если младенец плачет
или дурачатся малолетки.
Юрген с диагнозом, это значит —
тих, если вовремя пьёт таблетки.

В жестах его ни одной описки.
Помня, откуда я, кто такая,
он говорит со мной по-английски,
письма из ящика извлекая.

Мнётся и медлит: «О фрау Евса,
там, где рулят беспредел и скверна,
совесть уже не имеет веса».
«Да, — соглашаюсь, — как это верно».

«Явь, — он вздыхает, — полна печали.
Кровь на священный течёт пергамент.
Я, фрау Евса, ловлю ночами
все ваши сны, и они пугают.

Мир обаятелен, как бариста,
правда, опасен и слаб умишком.
Я вам сочувствую. Но С-300
каждую ночь — это, фрау, слишком».

И, дезертиром слиняв с позиций,
Юрген идёт размышлять о благе
в парк, что сквозит желтизной форзиций,
словно нарезанных из бумаги.

Смотрит на уток, плывущих мимо.
Божью коровку сдувает с пальца.
Думает: всё ещё поправимо —
можно тут спрятаться, отоспаться.

* * *

У каждого есть бесценная чепуха,
которую он хранит:
обрывок бечёвки, фантик, фрагмент стиха,
таинственный эбонит,
счастливый билетик, связка ключей от той
квартиры — окном на юг —
куда ты — без лифта — с первого на шестой,
и дверь открывалась вдруг.

В бедламе отъезда этот священный хлам
(а стоит ли он возни?),
сбивая предметы, ищешь по всем углам:
да где ж она, чёрт возьми,
монетка вон та — вершина его даров —
цидулка из никогда?
Тебе подмигнул бы пристальный Гончаров:
залог любви, ну да.

И там, где толпа клубится у врат, боясь,
что не заберут в теплынь
краёв, где в озёрах спит краснопёрый язь,
скользит золотистый линь,
тревожишься об одном, подходя к черте:
позволят ли пронести
тот синий стеклянный шарик, что в суете
успел ты зажать в горсти.

Ксения ГАМАРНИК

ЗАГАДОЧНАЯ ХАРПЕР ЛИ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗНАМЕНИТОЙ
АМЕРИКАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Пересмешник — самая безобидная птица, он только поёт нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах, они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить пересмешника — грех.

Харпер Ли. «Убить пересмешника»

Неприметная серая птичка, которая называется североамериканский многоголосый пересмешник — один из самых удивительных представителей отряда воробьинообразных (семейство пересмешниковых Mimidae). Пересмешник искусно подражает голосам других птиц, насекомых и даже земноводных, благодаря чему получил своё латинское название *Mimus polyglottos* — «подражатель-полиглот». Песня пересмешника представляет собой целую симфонию, в которой он мастерски чередует разные голоса.

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» («To Kill a Mockingbird», 1960) — одно из самых известных произведений американской литературы двадцатого века. Он был переведён на десятки языков. В мире продано более 30 миллионов экземпляров. Книга входит в школьную программу, и её изучает поколение за поколением американских старшеклассников. Среди читателей романа оказались такие, которых настолько вдохновил образ благородного адвоката Аттикуса Финча, что они сами решили стать адвокатами.

Режиссёр Роберт Муллиган снял одноимённый фильм в 1962 году. Фильм пользовался у зрителей огромной популярностью и награждён премиями «Оскара» за лучший сценарий на основе книги и за декора-

ции, а Грегори Пек, исполнивший роль Финча, получил премию «Оскара» за лучшую мужскую роль. Картина вошла в золотой фонд американского кинематографа.

На русском языке книга «Убить пересмешника» была издана в 1963 году в переводе Норы Галь (Элеоноры Гальпериной) и Раисы Облонской.

«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

Действие разворачивается на американском Юге, в маленьком городке Мейкомб, штат Алабама, во времена Великой Депрессии и охватывает три года (1932–1935) из жизни семьи Финч. В городе царит сегрегация — белые и чернокожие живут отдельно и молятся в разных церквях, при этом чернокожие традиционно работают на белых. Писательница рисует образы представителей разных слоёв общества. Перед читателями предстаёт целая галерея горожан и жителей сельской местности — адвокат, судья, шериф, доктор, учительница, женщины из дамского кружка — наследницы плантаторов, представляющие элиту местного общества, фермеры, никчёмные люди, которых называют «белый мусор», чернокожий пастор, чернокожая кухарка Финчей и чернокожие бедняки.

Ли пишет о том, насколько свежи в памяти южан воспоминания о гражданской войне; упоминает ку-клукс-клан; затрагивает тему антисемитизма — дети на одном из уроков обсуждают растущее в Европе влияние Гитлера; с юмором описывает небольшие трения среди прихожан различных религиозных конфессий Мейкомба. Но наиболее острое противостояние в городе возникает на расовой почве.

На протяжении романа Ли несколько раз устами своих героев упоминает о том, что нельзя убивать птицу-пересмешника и вообще певчих птиц, нельзя стрелять в калеку, низостью является обман белыми чернокожих. Таким образом, книга несёт в себе огромный заряд гуманизма и сострадания к более слабым людям и безвредным живым существам, не способным себя защитить.

Рассказ ведётся от имени Джин-Луизы, которой в начале романа шесть лет. Девочку и её старшего брата Джима воспитывает овдовевший отец, адвокат Аттикус Финч. Человек чести, Аттикус старается воспитать в своих детях чувство справедливости. Домашнее прозвище Джин-Луизы перевели как Глазастик. В оригинале её называют Скаут (англ. Scout), что значит разведчик, следопыт, первопроходец (отсюда произошли названия американских детских организаций: бой-скауты и гёрл-скауты). Прозвище неслучайно, Скаут-Глазастик пристально наблюдает

за окружающими людьми и впитывает происходящее как губка. И даже когда ей не до конца понятны мотивы поступков, любящее сердце подсказывает, как отличать добро от зла, а хороших людей от плохих.

Ситуация в городе накаляется, когда Аттикус, движимый чувством долга, берётся, без надежды на успех, защищать чернокожего Тома Робинсона, которого несправедливо обвинили в изнасиловании белой девушки. Белые горожане возмущены решением Финча. У Скаут, Джима и их друга Дилла, тем временем, свои детские заботы — им не даёт покоя загадочный сосед Артур Рэдли по прозвищу Страшила, про которого ходят страшные рассказы.

У читателя в ушах словно звучит непосредственный детский голос отважной девочки, готовой, если надо, подраться за справедливость:

«Ничем стоящим наш отец не занимался. Работал он в кабинете, а не в аптеке. Хоть бы он водил грузовик, который вывозил мусор на свалки нашего округа, или был шерифом, или на ферме хозяйничал, или работал в гараже — словом, делал бы что-нибудь такое, чем можно гордиться ... Он не делал ничего такого, что делали отцы всех ребят: никогда не ходил на охоту, не играл в покер, не удил рыбу, не пил, не курил. Он сидел в гостиной и читал.

При таких его качествах мы бы уж хотели, чтоб его никто не замечал, так нет же: в тот год вся школа только и говорила про то, что Аттикус защищает Тома Робинсона, и разговоры эти были самые нелестные. Когда я поругалась с Сесилом Джейкобсом, а потом ушла как последняя трусиха, ребята стали говорить — Глазастик Финч больше драться не будет, ей папочка не велит. Они немного ошиблись: я не могла больше драться на людях, но в семейном кругу дело другое. Всяких двоюродных и пятиюродных братьев и сестёр я готова была отдубасить за Аттикуса влась. Фрэнсис Хенкок, к примеру, испробовал это на себе».

Роман «Убить пересмешника» был написан и опубликован в 1950-е годы на фоне наиболее значительных социальных изменений на Юге со времени Гражданской войны, в эпоху борьбы афроамериканцев за свои права. В книге есть эпизод, в котором Аттикусу Финчу приходится убить бешеную собаку, которая угрожает его детям. Профессор английской литературы Кэролин Джонс подчёркивает: «Настоящая бешеная собака в Мейкомбе — это расизм».

НЕЛЛ И ТРУ

Нелл Харпер Ли родилась в городе Монровилль, штат Алабама. Её отец Амос Колман Ли был влиятельным человеком — адвокатом, законодателем штата и редактором местной газеты. Отдалённое родство

связывало его с легендарным генералом южан Робертом Ли. Фрэнсис Финч, мать будущей писательницы, была дочерью почтмейстера. Нелл, как её называли родные, младшая из четырёх детей. Ближе всех по возрасту к Нелл оказался брат Эдвин, старше её на четыре года. Сёстры Алиса и Луиза были старше на 15 и 10 лет.

Сложно представить, что в таком захолустном маленьком городке, как Монровилль, могли встретиться два будущих великих американских писателя, но именно там познакомились Нелл Харпер Ли и Трумен Капоте (1924–1984). Мать Трумена родила его в 17 лет. Вскоре она развелась с мужем и, когда мальчику исполнилось три года, отправила его к родственникам в Монровилль. Нелл и Трумен не только жили в одном городе, но в соседних домах, и очень подружились.

В «Пересмешнике» отражены многие подробности из жизни Нелл. В описаниях воображаемого Мейкомба угадывается Монровилль. Конечно же, бесстрашная и верная Скаут — это альтер-эго писательницы. Отец Нелл, адвокат Амаса Ли, стал в романе адвокатом Аттикусом Финчем, получив девичью фамилию матери. Брата Эдвина она вывела под именем Джима, а Трумен получил имя Дилл Харрис. Взрослый Капоте с удовольствием рассказывал друзьям о том, что в книге Ли он изображён под именем Дилла.

Трумен был старше Нелл на два года, но маленьким и тщедушным, к тому же носил непривычные «городские» костюмчики и даже галстуки. Поэтому Нелл, которая была девочкой-сорванцом, защищала его от нападок соседских мальчишек.

Вот как Ли описала знакомство детей в «Пересмешнике»:

Когда мне было около шести лет, а Джиму около десяти ... В то лето к нам приехал Дилл.



Трумен Капоте в детстве



Харпер Ли в Монровилле в 1961 г.

Фотограф Дональд Юрброк,
LIFE Images Collection/Getty Images.

...там сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Над кольраби торчала одна макушка ...

— Тебе сколько? — спросил Джим. — Четыре с половиной?

— Скоро семь.

— Чего ж ты хвастаешь? — сказал Джим и показал на меня большим пальцем. — Вон Глазастик с роду умеет читать, а она у нас ещё и в школу не ходит. А ты больно маленький для семи лет.

— Я маленький, но я уже взрослый.

...Дилл был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны пуговицами пристёгнуты к рубашке, волосы совсем белые и мягкие, как пух на утёнке; он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом.

Подружившихся детей объединяло многое. У каждого из них были сложные отношения с матерью. Трумен стал для юной матери нежеланным ребёнком, а мать Нелл страдала маниакально-депрессивным психозом. Нелл и Трумен оба оказались страстными читателями и сочинителями. Отец Нелл подарил детям пишущую машинку, и Нелл с Труменом по очереди печатали свои рассказы и читали их друг другу. Кроме того, они вместе бегали в суд, где часто выступал Амаса Ли. «Детьми мы ходили на процессы всё время. Мы ходили на процессы вместо кино», — вспоминал позднее Капоте.

После развода мать Трумена переехала в Нью-Йорк. В 1933 году она вспомнила о сыне и определила его в тамошнюю школу. Тем не менее, Трумен ещё несколько лет проводил каждое лето у родственников в Монровилле, и позднее описал любимую тётю в трёх новеллах.

Американский писатель Грег Нери (он публикуется под именем G. Neri) в 2024 году выпустил две книжки для детей про дружбу Нелл и Трумена, одна из них называется «Тру и Нелл» («Tru & Nelle»), вторая «Тру и Нелл: Рождественская история» («Tru & Nelle: A Christmas Tale»).

РОЖДЕНИЕ РОМАНА

Из всех детей Ли по стопам отца пошла только старшая дочь Алиса Ли (1911–2014). В 1943 году она сдала экзамен, позволивший ей практиковать право, и присоединилась к адвокатской фирме отца. Алиса не выходила замуж и не имела детей. Она стала одной из первых женщин-адвокатов в Алабаме и проработала в семейной фирме всю жизнь, почти до самой смерти в возрасте 103 лет.

Отец мечтал, что Нелл, изучавшая право, пойдёт по стопам его и Алисы. Но она во всём проявляла самостоятельность. В студенческие годы, вместо элегантных нарядов, как было принято для девушек из хороших



Сёстры Ли (слева направо): Нелл Харпер Ли, Алиса Финч Ли и Луиза Ли Коннер в 1983 году.

семей в то время, Ли вызывающе носила кожаную куртку лётчика, полученную в подарок от брата, и курила трубку. Она оставила Университет Алабамы, не доучившись всего один семестр, и в 1949 году переехала в Нью-Йорк, мечтая стать литератором.

К моменту её переезда в Нью-Йорк Капоте уже приобрёл литературную известность, опубликовав, кроме рассказов, свой первый роман «Другие голоса, другие комнаты» («Other Voices, Other Rooms», 1948). Ранний роман Капоте литературоведы причисляют к жанру южной готики. В этом жанре соединились элементы классической готической литературы (мистические явления и пугающие происшествия), и описания реалий американского Юга.

В книге Капоте 13-летнего Джоула Харрисона Нокса после смерти матери отправляют жить в глушь Миссисипи, в огромный ветшающий особняк на плантации его отца. Там подростка встречают мачеха, её кузен Рандольф и девочка-сорванец Айдабела. Вместе Джоул и Айдабела сбегают из странного, наполненного воспоминаниями дома, но вынуждены вернуться, когда Джоул заболевает воспалением лёгких. Таким образом, задолго до того, как Ли изобразила Капоте в образе Дилла, Капоте изобразил её в образе Айдабелы.

В студенческие годы Нелл писала для университетской газеты и юмористического журнала. В Нью-Йорке работала сперва в книжном магазине, затем в офисе по продаже авиабилетов, опубликовала несколько рассказов и одновременно трудилась над черновиком будущего романа. Только в 1957 году Ли рискнула показать черновик Тэй Хохофф (полное имя Тереза фон Хохофф). Хохофф была редактором издательства «Лип-

пинкот Компани» (ныне издательство называется «Харпер Коллинс»). Тэй немедленно распознала литературный талант южанки, но сочла, что книга сырая, скорее, коллекция зарисовок, которой не достаёт жёсткого каркаса, и пока не готова для публикации.

Следующие два года шла кропотливая работа над романом. Две женщины, обе с решительными характерами, иногда спорили из-за того или иного пассажа часами, до хрипоты. Однажды Ли в отчаянии вышвырнула черновик в окно и позвонила Тэй в слезах. Хохофф приказала ей немедленно выйти на улицу и собрать разлетевшиеся листы.

В итоге роман претерпел значительную трансформацию и получил новое название «Убить пересмешника». Нелл Харпер Ли решила оставить на обложке только имя Харпер Ли — она терпеть не могла, когда её по ошибке называли не Нелл, а Нелли.

«ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО»

В ноябре 1959 года Трумену Капоте на глаза попала короткая заметка в газете «Нью-Йорк Таймс» об убийстве семьи Клаттер в захолустном городе Холкомб в Канзасе. Убийство фермера, его жены и двух детей-подростков захватило воображение писателя, к тому времени опубликовавшего роман «Завтрак у Тиффани» (1958). Вскоре по заданию журнала «Нью-Йоркер» Капоте отправился в Холкомб, чтобы на месте изучить подробности трагедии.

В качестве ассистентки он пригласил поехать вместе с ним Харпер Ли. Журналистка Салли О’Рурк описала эту поездку так: «Женственный, экстравагантно одетый Капоте выглядел в провинциальном городке Среднего Запада эксцентрично. К счастью, Харпер Ли, чья недавно завершённая книга „Убить пересмешника“ ожидала публикации, была рядом, чтобы выступить в роли помощницы и своего рода „переводчицы“. Её ненавязчивая дружелюбность и южные корни облегчали Капоте общение с жителями Холкомба и следователями, занимающимися убийством Клаттеров».

Капоте не стенографировал интервью и не записывал их на магнитофон. Он уверял, что может запомнить и записать по памяти шестичасовый разговор с более чем 90-процентной точностью. Именно Ли делала записи во время бесед. В 2009 году житель Холкомба Боб Рупп рассказал журналисту газеты «Гардиан», что Капоте «не был тем человеком, с которым он хотел бы общаться». Это была Ли, а не Капоте, которая задавала Руппу вопросы. Исследователи сходятся во мнении, что Ли во время нескольких поездок в Канзас оказала своему другу неоценимую помощь. В то время, как внимание Капоте было сосредоточено

Харпер Ли и Трумен Капоте. Нью-Йорк, 1976.
Фотограф Гарри Бенсон, *Contour/Getty Images*.



на личностях двух убийц, арестованных в конце 1959 года, Ли опрашивала местных жителей, собирала и записывала информацию, нарисовала схему дома жертв и местности вокруг их дома, сопровождала Капоте в тюрьму на допросы и восстановила передвижения убийц после того, как они совершили преступление.

В 1960 году увидел свет роман «Убить пересмешника». Он мгновенно стал бестселлером, а в 1961 году удостоился Пулитцеровской премии по литературе. Биографы Ли и Капоте единодушны в том, что Капоте так никогда не простил подруге детства ни её внезапно вспыхнувшей славы, ни Пулитцеровской премии, которой не была награждена ни одна из его книг.

Капоте посвятил работе над материалами, собранными в Холcombe, несколько лет и вспоминал, что накопил восемь тысяч страниц заметок. Результатом стал документальный роман «Хладнокровное убийство» (в другом варианте перевода «Обыкновенное убийство») («*In Cold Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences*»), написанный на основе реальных событий в стиле «новой журналистики». Капоте считал, что он создал новый жанр, в котором сухой журналистский репортаж, перечисляющий реальные факты, превращается в художественную литературу.

В 1965 году «Хладнокровное убийство» печаталось частями в номерах «Нью-Йоркера», а в следующем году увидело свет в виде отдельной книги. Она начиналась с посвящения: «Джеку Данфи (в то время партнёру Трумена Капоте — К. Г.) и Харпер Ли с моей любовью и благодарностью». Однако это короткое посвящение показалось Ли недостаточным признанием её вклада в литературный труд. Она считала, что её усилия должны были быть более подробно описаны в разделе «Благодарность». И, как выяснила профессор Мэдисон Пешок, работавшая с черновиками Капоте, он сперва добавил имя Харпер Ли в этот раздел, а затем вычеркнул.

В свою очередь, годы спустя Капоте отзывался о роли Ли пренебрежительно, говоря, что «она составила ему компанию» во время его пре-

бывания в Канзасе и «была крайне полезна в начале... подружившись с жёнами тех людей, с которыми я хотел встретиться».

Писательница и журналистка Эйприл Снеллинг писала: «„Хладнокровное убийство“ стало огромным успехом как у читателей, так и у критиков, но успех книги обернулся для её автора колоссальными личными издержками. „Никто никогда не узнает, какие потери принесло мне “Хладнокровное убийство”, — пояснял Капоте своему биографу Джеральду Кларку.— Оно выскоблило меня до костного мозга. Оно чуть не убило меня. Я думаю, что в каком-то смысле оно и убило меня.“ В последующие годы после публикации Капоте всё более зависел от наркотиков и алкоголя, некоторые из наиболее дорогих ему личных отношений оказались разорваны. Даже его дружба с Харпер Ли сошла на нет, отчасти из-за его образа жизни, отчасти потому, что он не признал её вклад в „Хладнокровное убийство“, и отчасти потому, что он завидовал успеху „Убить пересмешника“».

Со времени публикации «Хладнокровного убийства» и до конца жизни Капоте больше не опубликовал ни одного романа.

«ЯРОСТНЫЕ ЧАСЫ»

После публикации «Пересмешника» 34-летняя Харпер Ли мгновенно стала знаменитой. Однако писательница не приняла известность, предпочитая оставаться в тени, избегая общественного внимания. Она терпеть не могла публичных выступлений, участия в презентациях её книги. После 1964 года она не дала журналистам ни одного интервью. Жила отшельницей — в отличие от Трумена Капоте, купавшегося в лучах славы, наслаждавшегося светской жизнью, по крайней мере, до тех пор, пока он не совершил «социальное самоубийство» — высмеял в тексте «La Côte Basque 1965» (опубликован в 1975 году) своих знакомых дам, после чего был изгнан из светского общества Нью-Йорка. Несмотря на охлаждение в дружеских отношениях, в 1976 году Капоте попросил Ли сопровождать его на интервью журналу «Пипл», и она согласилась.

Харпер Ли никого к себе не приглашала, лишь время от времени, часто без предупреждения, навещала друзей. Поговаривали, что она злоупотребляет спиртным. Её судьба стала благодатной почвой для множества спекуляций и вопросов, например, были ли в её жизни романы? Но, конечно, главный вопрос, который до сих пор не даёт покоя читателям: почему она больше не писала?

В 2019 году увидела свет книга журналистки «Нью-Йорк Таймс» Кейси Сеп, которая называется «Яростные часы: Убийства, махинации и по-

следний судебный процесс Харпер Ли» («Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee» by Casey Sep).

Книга состоит из трёх частей — трёх биографий. Первая часть «Проповедник» посвящена истории Вилли Максвелла, жителя деревенской глуши в Алабаме. Это мрачный сюжет в духе южной готики, произошедший в реальной жизни. Чернокожий Вилли Максвелл в будние дни заготавливал древесину, а по выходным проповедовал. Односельчане его побаивались, шептались, что он практиковал чёрную магию-вуду, на деревьях вокруг его дома были развешаны задушенные куры — Максвелл верил, что они отгоняют злых духов. Затем начали умирать родные Максвелла. Первой жертвой в 1969 году стала его жена. Её нашли избитой и задушенной в её автомобиле. Максвеллу объявили обвинения по этому делу, но, пока готовился суд, он успел жениться на главной свидетельнице обвинения. После этого она полностью изменила свои показания, и проповедник был оправдан. На протяжении последующих восьми лет погибли его брат, вторая жена Максвелла, спасшая его от тюрьмы, и племянник. Последней, пятой жертвой оказалась приёмная дочь его третьей жены, 16-летняя Ширли-Энн. Примечательно, что всех погибших находили в машинах или рядом с ними. Жизнь каждого из них была застрахована на крупные суммы, которые получал проповедник.



Обложки книг Харпер Ли

Виктор ДАЛЬСКИЙ С ГАСТРОЛЁРАМИ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ

ОКОНЧАНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Эта глава, как уже отмечал в двух предыдущих публикациях, родилась как результат призывов близких друзей, которые настойчиво просили вспомнить наиболее запомнившиеся моменты моей продюсерской жизни. И сразу после завершения юбилейного — 100-го гастрольного продюсерского тура, я сдался и сел писать, вспоминая самых дорогих для меня артистов.

Общение с ними невероятно обогатило меня, скрасило зачастую совсем непростую жизнь импресарио в изгнании. Вспоминаю только самые комические и трагикомические эпизоды гастрольной жизни. На моё счастье, туры с другими, не менее дорогими для меня артистами и коллективами прошли без суперстрессов, хотя тоже не без приключений. Не могу не отметить замечательного Максима Аверина, который написал предисловия к обоим томам моего двухтомника, и его колоритнейшего директора Николая Коренева, народного артиста Андрея Ильина, Тимура Шаова с его музыкантами, бардовский коллектив «Песен нашего двора», Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с его неповторимым художественным руководителем Виктором Новиковым и, конечно же, «Легенд танго» из Буэнос-Айреса...

ПОУЩИЙ РАВВИН И ЗАПОЗДАЛАЯ БАР-МИЦВА

Когда в 1990-е стало кристально ясно, что из России с её тогдашней пугающей действительностью и антисемитизмом надо уезжать, я неожиданно получил приглашение до отъезда поработать в Театр-студии «Секрет» — одном из первых и самых успешных театров-студий страны.

Директором бит-квартета и театра в то время работал его основатель, мой старый знакомый Сергей Александров, которого квартет знаменитых секретчиков уважительно называл «Папа».

Мне приглашение Сергея пришлось как нельзя кстати, я давно размышлял, не стоит ли самому быть продюсером своих творческих задумок, а параллельно — проектам талантливых друзей. Ясно сознавая, что в Америке преуспеть на литературном поприще не светит и неплохо бы поискать какую-либо иную сферу применения.

Так получилось, что во время одной полуслучайной встречи мой знакомый предложил провести гастролы знаменитого еврейского религиозного певца и композитора, «Поющего раввина с гитарой» Шломо Карлебаха, также называемого «Отцом современной еврейской песни» и «Врачевателем души». За свою сравнительно недолгую жизнь Карлебах сочинил более тысячи мелодий, положил на музыку тексты многих еврейских молитв.

Родился этот невероятный человек в Берлине, в семье одной из старейших раввинских династий Германии (документально известно о её восемнадцати поколениях). Отец Шломо, Нафтали, был авторитетным раввином, а дед Соломон — главным раввином города Любек. Томас Манн, тоже живший в Любеке, писал о нём: «У меня сохранилось впечатление, что длиннородый, в шляпе, доктор Карлебах далеко превосходил своих коллег другой веры в знаниях и религиозном проникновении».

В 1939-м семья перебралась в Америку, и Карлебахи поселились в Манхэттене, где отец основал общину «Кейлат Яаков», ставшую впоследствии известной как «Карлебах Шуде», существующую и поныне. Ещё через 10 лет — в качестве эмиссара всемирно почитаемого еврейского духовного лидера и мыслителя любавичского ребе Шнеерсона — Шломо Карлебах начал поездки по миру с концертами, беседами, организацией религиозных праздников. К началу 21-го века в Израиле и Штатах насчитывалось более 100 синагог и центров еврейской культуры, в создании которых прямо или косвенно участвовал Шломо.

...Как потом оказалось, я был двенадцатым потенциальным импресарио, которому был предложен этот проект, чего я, конечно, не знал. Предыдущие одиннадцать — профессионалов в отличие от меня — благоразумно отказались, я же — бесстрашный, начинающий в ту пору дилетант, немедля согласился. Знал бы, с чем предстоит столкнуться...

Для начала мне прислали райдер гастролей, и я с ужасом прочёл, что Шломо прилетит на гастролы не один, а с рок-группой «Земля обе-

тованная», и сопровождать их на маршруте должна группа друзей-последователей (*правда, за свой счёт.*) Подобные группы поддержки путешествовали с певцом повсюду, что было неудивительно при славе Шломо в хасидском мире — в период наибольшей популярности его концерты на клезмерских фестивалях собирали и пять, и десять тысяч зрителей.

В Петербург, первый город тура, группа будет слетаться со всего мира, включая Австралию, а из Лондона пришлют трёхтонный контейнер кошерной еды.

Телефон в доме не смолкал 24 часа в сутки, бесконечный перечень требований увеличивался с каждым часом, ввергая меня в полное отчаяние. Однажды посреди ночи жена застала меня возле аппарата — всклокоченного, в трусах и с безумным взглядом, горестно вопрошающего: «Их охраняет и ведёт по жизни Библейский Бог, а кто поможет выжить мне?!»

Переговоры длились долгие полгода, участники прилетали группами и поодиночке, так что администраторы театра на несколько дней практически поселились в Пулковском аэропорту. Отмечу, в «Секрете» работали потрясающие профессионалы, без помощи которых я, конечно бы, не выжил, за что им безмерно благодарен. При этом, понятно, все вопросы замыкались на мне — создание рекламы, переводы и вся логистика — график гастролей, переездов и перелётов, бронирование отелей. В Институте востоковедения мне посчастливилось найти потрясающего эрудита, в разговоре с которым однажды услышал фразу одной из молитв, давшую название нашим концертам — **«Во имя братьев и друзей моих...»**

Всего состоялось, если не ошибаюсь, 17 концертов: в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Вильнюсе. Места в огромных залах, включая стадионную арену в Литве, были распроданы в считанные часы. Это были одни из первых столь масштабных концертов еврейской музыки и песни, когда зрители могли всем залом, кроме засланного отряда агентов «органов», подпевать исполнителю, танцевать на сцене и в зале с флажками Израиля и, к ужасу и под проклятия пожарных, горящими огоньками зажигалок.

Молодёжь наперегонки рвалась на сцену, заполняя планшет после самой первой песни. Я сам вёл концерты, представляя Шломо, его группу и песни, рассказывая о его судьбе, переводил с английского обращения к публике, героические и трагические истории времён Катастрофы. К микрофону пробирался, в буквальном смысле, шагая по телам слушателей. Тысячные залы, затаив дыхание, внимали каждому слову самых

знаменитых песен ребе: «Золотой Иерусалим», «Ам Израэль хай! (Еврейский народ жив)», «Ани Маалин (Я верую)»...

В антракте и после концертов Шломо — седовласый, в синей бархатной ермолке, излучающий удивительное тепло, неизменно выходил пообщаться со зрителями. Его тёмные глаза, доброжелательный взгляд, сияющая улыбка мгновенно притягивали, рождая чувство, что вы знакомы давным-давно.

...О питании гостей — особый разговор. Утром и вечером в ресторанах официанты должны были разносить доставленную из Лондона пищу, но сначала работники кухонь должны были её поместить в глубокую заморозку, позже — в обычные холодильники, а по приезду паломников — разогреть. Поскольку, мягко говоря, отнюдь не все представители услуги были толерантны, а многие откровенно враждебны к евреям, то лица некоторых просто-таки перекашивались от неприятия непонятных пришельцев в пейзах и лапсердаках.

Днём было чуть легче, в каждом городе находились верующие хасидские семьи-кормильцы. Так, в Питере была только одна семья, которой религиозные гости доверяли приготовление кошерной пищи. Жила она в коммунальной квартире с одной газовой плитой, на которой им принадлежали 2 конфорки. Как эти муж с женой умудрялись готовить еду и кормить ежедневные полчища гостей, как им удалось договориться с соседями, отбиться от всевидящих органов, знали только эти супруги-трудяги. К счастью, жила семья в паре кварталов от центральной синагоги и минутах ходьбы от гостиницы.

Как мне известно, ни один другой тур популярных еврейских гастролёров в то время не был завершён. Верующих, а среди них были и люди весьма преклонного возраста, администраторы намеренно селили на последних этажах высотных гостиниц, в разных крыльях, так, чтобы создать максимальные неудобства в шабат, когда они не могли пользоваться лифтами, и, задыхаясь, ползли вверх-вниз по бесконечным лестничным пролётам. Как удалось обойти все острые углы, решить все проблемы — по сию пору остаётся для меня неразгаданной загадкой...

...После концерта в Киеве артисты упросили организовать поездку в Умань, близ Белой Церкви, на могилу ребе Нахмана (Брацлавского) — одну из самых почитаемых святынь хасидов, место ежедневных массовых паломничеств. В то время могила была в саду одной украинской семьи, к забору толпами припадали паломники со всего света; плакали, молились, бросали денежные знаки. Для семьи это был весьма прибыльный бизнес — под прикрытием и бдительным оком местных властных структур и бандитов.

Позже ряды паломников к святыне умножились многократно. На средства еврейских организаций в Умани построена самая большая в Украине синагога, на 7 тысяч человек, отремонтированы дороги, в городе вырос современный аэропорт, принимавший ежедневно, кроме шабата, на месяцы вперёд распроданные рейсы из Израиля.

Именно возле захоронения ребе Нахмана Шломо совершил для меня, с опозданием на 30 лет, обряд Бар-Мицвы — совершеннолетия, дал еврейское имя Авигдор, и я стал наконец сыном заповеди...

На обратном пути из Умани случилось непредвиденное. Был жаркий сентябрь, светило солнце, пели птицы, я невольно расслабился. В какой-то момент артисты попросились в туалет. Выбора не было, и я, предчувствуя неизбежное и зная реалии, вынужден был попросить водителя притормозить у ближайшего придорожного сортира. Когда через несколько секунд увидел невозмутимое лицо выходящего оттуда Шломо, то понял, что он — святой. Ни один мускул не дрогнул на лице Карлебаха, он не проронил ни слова. Просто неспешно проследовал за рысью рванувшей в придорожные кусты группой «Земля обетованная», один из которой, выйдя из кустарника, выразительно плюнул в направлении этого образцового очага санитарии. А потом также невозмутимо прошествовал мимо парочки мертвецки пьяных, еле ковыляющих дядечек, настойчиво пытавшихся его обнять и облобызать, выклянчивая при этом милостыню.

...Меня Шломо называл «Брат Виктор», а после Бар-мицвы — Авигдор, подарив кипу с моим именем, тфилин и книгу Торы, посоветовав учить иврит. Вняв ему, я старательно пытался учить язык, но так ни разу не смог правильно открыть учебник, хотя слов 200 помню и сегодня.

Для меня тур стал настоящим боевым крещением, после него я был готов к любым превратностям гастрольной судьбы. Тогда же в полной мере осознал свою национальную принадлежность и ощутил потребность в будущем познакомить сограждан — новых эмигрантов Америки — с лучшими представителями мировой еврейской культуры, что и делал в дальнейшем неоднократно.

И всё благодаря незабываемому Шломо — фантастическому человеку, музыканту и другу, посвятившему жизнь служению братьям и друзьям своим. Неслучайно после его ухода из жизни «Нью-Йорк таймс» посвятила ему целую полосу-некролог, не говоря про еврейские газеты всего мира. В октябре, в годовщину его смерти, в разных городах Израиля многие годы проводились концерты в его честь, звучали песни-молитвы Карлебаха.

Похоронен Шломо в Иерусалиме. «Мой дедушка», — сказал он как-то, — «был цадик, но ему не посчастливилось видеть Иерусалим. Я — удостоился чести, хотя был далёк от уровня его праведности».

В заключение хочу процитировать высказывание ребе Шломо после печально известных соглашений Осло, слова, которые и сегодня не потеряли актуальности... «Иногда я чувствую дым Освенцима. Есть люди, которые хотели бы направить газ Освенцима на Святую Землю. Но мы должны быть сильны. Это наша земля, и Иерусалим — наш город навсегда. Б-г дал эту Землю Аврааму и сказал ему: «Иди в эту землю, я даю её тебе», — с тех пор это наша земля. Каждый её дюйм полон крови наших солдат, которые отдали за неё свои жизни. Эта земля должна быть нашей навсегда, землёй наших детей и внуков, и никто не может её забрать у нас.

Мы, после Освенцима и Майданека, обосновались и построились наконец на своей земле, а мир имеет наглость хотеть забрать её?! У наших двоюродных братьев есть миллионы миль пустых земель, а у нас — только этот клочок, пропитанный слезами, кровью и молитвами. Я не ненавижу этих людей, я люблю многих из них всем сердцем, но есть только одно место в мире, где они живут как люди, — Израиль...»

ЗА КУЛИСАМИ САТИРЫ И ЮМОРА

А эта часть воспоминаний о другого рода гастролях — по издательствам популярных газет и журналов с робкой надеждой напечататься.

...В годы невероятной популярности «Клуба 12 стульев» *Литературной газеты* напечататься там было мечтой каждого сатирика и юмориста. Попасть же туда начинающим авторам было практически невозможно. Нам с Владимиром Барсовым несказанно повезло, два наших первых рассказа «Репетитор» и «Кто отец вундеркинда? («Подкидыш»), послали в набор практически сразу после прочтения. Тем не менее, мне как посыльному пришлось тоже поначалу пройти испытание на твёрдость характера и устойчивость психики.

Заведующий отелом сатиры и юмора Виктор Веселовский на работе практически не появлялся — только по большим праздникам или если надо было решить какой-то насущный щекотливый вопрос в кабинете главреда газеты А. Чаковского, который Виктора любил, прощая все прегрешения. Повседневной же жизнью заправлял зам Веселовского — громогласный и колоритный Виталий Резников. Роста был среднего, но с зычным голосом, весьма и весьма нахрапистый.

ШТОРЫ. РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ

Борис Найдич

«Шторы» — это цикл из двадцати семи автобиографических рассказов, прослеживающих путь мальчика от самых ранних воспоминаний до порога взрослой жизни. События происходят в Сибири в пятидесятых и шестидесятых годах XX века. Автор переносит читателя во времена своего детства и позволяет увидеть происходящее глазами своего героя через короткие, но яркие события, которые оставляют глубокий след в его душе и формируют отношение к миру.

В каждом эпизоде своя интрига, свой жизненный урок, и в последних фразах каждого рассказа происходит переоценка бытия, своего рода эпилог. Мир таков, каким мы его себя представляем. Но ребенок видит его совершенно иначе, чем человек взрослый. И главное отличие — это полное отсутствие цинизма, искренняя вера в добро и справедливость. И это не черно-белое отражение действительности. Герой книги Бориса Найдича видит мир в ярких красках цветовой палитры, где каждый день — праздник жизни и ожидание чуда.

Книга «Шторы» универсальна по темам и сдержанно философская по тону. Она написана простым и легким языком, присущим наивному ребенку, а затем — взрослеющему подростку, с иронией и легкой грустью по ушедшей счастливой поре, когда рядом была мама и не было никаких забот. О самом светлом периоде жизни, который всегда остается с нами. Книга охватывает ключевые темы взросления: идентичность, память, внутренний рост, преодоление страха, первые столкновения с ответственностью и уязвимостью.

Об авторе: Борис Найдич родился в 1950 году в Омске. Жил в нескольких городах Сибири. Закончил Кемеровский медицинский институт и заочную аспирантуру в 1-м Московском медицинском институте. Кандидат медицинских наук. Работал врачом скорой помощи, рентгенологом в городской больнице и онкологическом диспансере. Преподавал и занимался научной работой в Алтайском медицинском институте. Публиковал труды в медицинских научных журналах.

После иммиграции в США прошел полный цикл переподготовки, включая резидентуру в Национальном институте онкологии (NCI). Дипломированный радиационный онколог с 30-летним стажем. Увлекается литературой, историей, музыкой и альпинизмом. «Шторы», книга рассказов о детстве — его литературный дебют.



Приобрести книгу можно на сайте издательства:

<https://mgraphics-books.com/product/curtains-stories-of-childhood/>
или просто просканировав QR-код

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

✉ mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
🌐 www.mgraphics-books.com ☎ 781-990-8778 (9 AM – 5 PM)





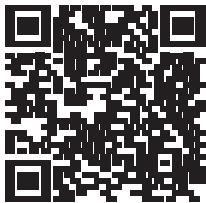
ДОКТОР САПЕРЛИПОПЕТ *Виктор Норд*

Предлагаемая читателям история расскажет о судьбе автора одного из сенсационных открытий начала двадцатого века, совершенного много лет назад — но в хаосе войн, революций, и финансовых кризисов не использованного, затерявшегося в архивах академий — и надолго забытого. Её герой — доктор Гольдберг — в свое время с блеском защитил степень микробиологии в Швейцарии. Менторы прочили ему большую роль в исследовании вирусных эпидемий — возможно даже в спасении миллионов жизней! Однако в Киеве, среди коллег, доктор Гольдберг — прозванный ими «Саперлипопет» — более известен лишь своими вызывающе эксцентричными манерами. Это ставит его под удар властей, подозревающих евреев-медиков в злостных

убийствах членов правительства. Только репутация полоумного чудака спасает доктора от ареста и гибели в застенках МГБ. Лишь в самом конце книги мы узнаем, как удалось уцелеть строптивому доктору — что помогло ему пережить войны, эпидемии и припадки истерического антисемитизма, поразившие страну после её победы над нацистами.

Рассказ ведется от имени малолетнего внука доктора, с которым его связывает крепкая мужская дружба.

Об авторе: Виктор Норд, теле- и кинорежиссер, драматург, продюсер (Израиль, США). Родился в 1945 году в бывшем Советском Союзе. В 1973 году эмигрировал в Израиль. Израильские фильмы и военные телерепортажи Виктора Норда переводились на многие языки и пользовались успехом в странах Европы и Америки. Наиболее известен благодаря режиссерской работе в художественном фильме под названием «ХаГан» с дебютанткой Мелани Гриффитс. Этот фильм представлял Израиль на Каннском фестивале в 1977 году, на Международном кинофестивале в Сан-Франциско, на Международном кинофестивале Вотерфронт в Торонто, и других. С 1982 года Виктор Норд проживает и работает в Нью-Йорке. Ко-продюсер и редактор ряда телевизионных шоу Frontline–WGBH, среди которых *The Russians are Here* и *Captive in El Salvador* (последний был награжден двумя премиями ЭММИ в 1984 году). Режиссер диалога двенадцати серий шоу *The Comrades* (WGBH) и телефильма *Seven Days in May* (CBS). Публикуется в международном литературном журнале «ВРЕМЕНА» (Бостон, США).



Приобрести книгу можно через сайт издательства:
<https://mgraphics-books.com/product/dr-saperlipopette/>
или просто просканировав QR-код

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**



mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
www.mgraphics-books.com ☎ 781-990-8778 (9 AM – 5 PM)

СРЕДЬ КРУГОВРАЩЕНИЯ ЗЕМНОГО...

Давид Гай

Роман «Среди круговращения земного...» описывает перипетии жизни людей, связанных родственными узами, носящих одну фамилию, на протяжении более чем века. Это — семейная сага. Около ста лет назад один из сыновей большой еврейской семьи эмигрировал в Америку. Так у семейного древа образовались две ветви — российская и американская. Повествование идет в двух плоскостях, самое важное в нем — судеб скрещенье, причудливое и непредсказуемое. Героев романа, философски-насыщенного и одновременно остросюжетного, не миновали бури XX столетия, и любопытно проследить, как удастся им выстоять — зачастую в неравной борьбе, с неизбежными потерями.

Предлагаемая книга это не мемуар, не историческое исследование, это роман в чистом виде. Любопытная особенность этой саги связана с тем, что действие происходит как бы по всему шару земному, в разных городах и странах: в России (потом в Советском Союзе и опять в России), в США, во Франции, в Китае... Читатель входит в обширную галерею оригинальных, ярко выписанных образов действующих лиц, неотрывно следит за всеми поступками и конфликтами героев романа, их спорами и столкновениями, душевными порывами и размышлениями, за изменениями в их жизни — и желаемыми, и вынужденными.

Тираж книги, изданной в Москве в 2009 году давно разошелся, сейчас она переиздана в США в новой редакции в электронном виде.

Об авторе: Давид Гай (1941 г.р.) — русско-американский писатель и журналист. Около тридцати лет был ведущим колумнистом газеты «Вечерняя Москва». Автор более 30 книг. С 1993 года живёт в США, где работал редактором газеты «Еврейский мир», самого большого русскоязычного американского издания — «Русская реклама» и газеты «В Новом Свете». В настоящее время — главный редактор международного литературного журнала «Времена». Его перу принадлежит художественное исследование «Десятый круг», посвящённое жизни, борьбе и гибели Минского гетто. Командировки в Кабул стали основой для документальной книги «Вторжение» (в соавторстве с Вл. Снегиревым) — о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане. Она по праву считается одной из самых честных и откровенных, посвященных той войне.

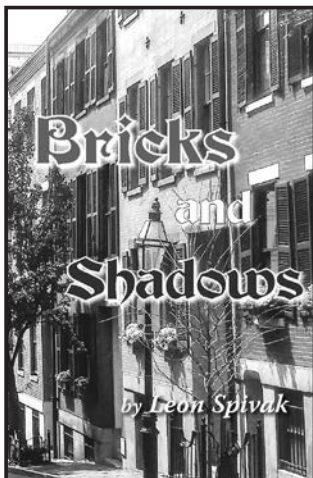


Приобрести книгу можно на сайте издательства:
<https://mgraphics-books.com/product/midst-whirl-world-ebook/>
или просто просканировав QR-код

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

 mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
 www.mgraphics-books.com  781-990-8778 (9 AM – 5 PM)





BRICKS AND SHADOWS

Леонид Спивак

В начале декабря прошедшего года вышла в свет новая книга бостончанина Леонида Спивака, известного автора многих интереснейших книг по истории Соединённых Штатов Америки и города Бостона. Вот, что пишет об этой книге профессор департамента истории университета Огайо Иван Курилла:

«Мой друг Леонид Спивак прислал свою свежую — и необычную — книгу. Это альбом его архитектурных фотографий, в котором Бостон предстаёт то ли Лондоном Шерлока Холмса, то ли Эдинбургом Вальтера Скотта, а то ли Хогвартсом Гарри Поттера. Да, листая книгу, хорошо видишь, насколько город, с которого началась Америка, остался не-американским. Насколько он хочет остаться

старой доброй Англией, — но и где у него это не получается. На фотографиях в книге очень мало людей, — но их движение чудится в приоткрытой двери, в перспективе мощёного булыжником переулка, — и кажется, они подсматривают за нами из-за закрытых окон. Но вот какие они, эти ускользающие бостонцы, живущие в декорациях, ставших плотью и кровью Новой Англии? Можно включить фантазию, — или перечитать другие книги всеми уважаемого автора».

Об авторе: Леонид Спивак, выпускник Нью-Йоркского университета, родом из Санкт-Петербурга. С 1993 года живёт в Бостоне. Автор многочисленных статей о русско-американских культурных связях XVIII–XX столетий. Его документальные сборники «Истории города Бостона» и «Меж двух берегов» посвящены малоизученным страницам американской и европейской истории. Л. Спивак являлся автором идеи и одним из составителей книги «Бостон. Город и люди» — первой на русском языке историко-литературной антологии, объединившей пишущих о Бостоне авторов. Его перу также принадлежат книги «Забывтые американцы», «Полковник из Нью-Йорка», «Когда Америки не было», «Потерянные миллионы Фигаро», рассказывающие о малоизвестных страницах американской истории. Одна из последних работ — «Страна за горизонтом» — предлагает читателю открыть для себя дороги Ильи Ильфа и Евгения Петрова в знаменитой «Одноэтажной Америке», увидеть масштаб их литературного путешествия, узнать о некоторых тайнах книги, задуматься о многих сближениях и парадоксах в исторических судьбах России и США.



Приобрести книгу можно через сайт издательства:

<https://mgraphics-books.com/product/bricks-and-shadows-hc/>

или просто просканировав QR-код

**С ВОПРОСАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

✉ mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-books.com
🌐 www.mgraphics-books.com ☎ 781-990-8778 (9 AM – 5 PM)

— А... Капленис... — несколько раз мелко кивнул Тадек, когда Уманец подробно объяснил, зачем Сухой приехал в Германию. — Не бойтесь?

— Чего? — в один голос спросили удивлённые Сухой и Уманец.

— Что он вас отравит. Он же русский шпион.

Алексей Никитин

...И вот теперь она сидела в опустевшей квартире, и события прошедших трёх дней вертелись перед ней калейдоскопом... Не зная, как скоротать время, она полезла в шкаф, где висел парадный пиджак Шульца, и похлопала по карманам, мало ли что у мужика заваялось... Неожиданно нашла в боковом внутреннем кармане тугую пачку, перетянутую резинкой. Понесла её к столу под настольную лампу, развернула и ахнула. В пачке оказалось больше двух тысяч долларов. Собирал Сенька деньги на похороны, знал, что скоро уйдёт, и не хотел доставлять ей урон.

Алик Толчинский

*Мы живём на проспектах имени палачей
Среди ржавых труб, расшатанных кирпичей
И глядим, как волки, в заросли кумачей,
Словно там остались залежи калачей.
Проплывают рядом бетонные пустыри
И торговых центров стеклянные пузыри,
Козырьки ларьков. Из серой юдоли сей
Никакой не выведет Моисей.*

Татьяна Вольтская

...Первые три месяца иммиграции стали накоплением «капитала». Наши беженцы обрастают неподъёмным барахлом. Проезд по Европе бесплатный. Невиданная щедрость Евросоюза! Гуманитарная помощь на каждом шагу. Беженцы истерично затариваются добром. Одежда разная: новая, дорогая, от кутюр, с этикетками, в хорошем состоянии, поношенная. Пещерный инстинкт — запастись впрок. Ведь будущее неизвестно.

Нина Абрамович

...Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» (“To Kill a Mockingbird,” 1960) — одно из самых известных произведений американской литературы двадцатого века. Он был переведён на десятки языков. В мире продано более 30 миллионов экземпляров. Книга входит в школьную программу, и её изучает поколение за поколением американских старшеклассников.

Ксения Гамарник

...Вскоре после смерти Сталина случились сразу три небывалых в истории ГУЛАГа события — Норильское, Воркутинское и Кенгирское восстания. Название «восстания» весьма условно, оно прижилось, чтобы подчеркнуть масштаб. Это были массовые забастовки политических заключённых с требованиями начать пересмотр дел, остановить произвол охраны и смягчить режим.

Николай Формозов

...Так получилось, что во время одной полуслучайной встречи мой знакомый предложил провести гастроли знаменитого еврейского религиозного певца и композитора, «Поющего раввина с гитарой» Шломо Карлебаха, также называемого «Отцом современной еврейской песни» и «Врачевателем души». Карлебах сочинил более тысячи мелодий, положил на музыку тексты многих еврейских молитв.

Виктор Дальский